

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Александр Долинин



**О ПУШКИНЕ,
О ПАСТЕРНАКЕ**

Работы разных лет

Александр Долинин

**О Пушкине, о Пастернаке.
Работы разных лет**

«НЛО»

2022

Долинин А. А.

О Пушкине, о Пастернаке. Работы разных лет / А. А. Долинин —
«НЛО», 2022

ISBN 978-5-44-482029-2

Изучению поэтических миров Александра Пушкина и Бориса Пастернака в разное время посвящали свои силы лучшие отечественные литературоведы. В их ряду видное место занимает Александр Алексеевич Долинин, известный филолог, почетный профессор Университета штата Висконсин в Мэдисоне, автор многочисленных трудов по русской, английской и американской словесности. В этот сборник вошли его работы о двух великих поэтах, объединенные общими исследовательскими установками. В каждой из статей автор пытается разгадать определенную загадку, лежащую в поле поэтики или истории литературы, разрешить кажущиеся противоречия и неясные аллюзии в тексте, установить его контексты и подтексты. Исследования А. А. Долинина, как правило, вводят в поле зрения новый материал из русской и западноевропейской культуры и нередко носят полемический характер. В приложении печатается авторский комментарий к «Моцарту и Сальери», в котором детально реконструируется история легенды об отравлении Моцарта, устанавливаются литературные параллели к ней и анализируются «темные места» драмы.

ISBN 978-5-44-482029-2

© Долинин А. А., 2022

© НЛО, 2022

Содержание

ОТ АВТОРА	5
О Пушкине	7
ЕЩЕ РАЗ О ЗАГАДКЕ ТАВРИЧЕСКОЙ ЗВЕЗДЫ	7
«ШОТЛАНДСКАЯ СТРОФА» У ПУШКИНА	25
КОММЕНТАРИЙ К ДВУМ СТИХАМ ИЗ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»	42
ГЯУР ПОД МАСКОЙ ЯНЫЧАРА	49
ИТАЛЬЯНСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭМЕ ПУШКИНА	64
«АНДЖЕЛО»	
DICHTUNG UND WANRHEIT ПУШКИНА	70
КАВКАЗСКИЕ ВРАТА	81
ИСТОРИЗМ ИЛИ ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ?	93
Конец ознакомительного фрагмента.	110

Александр Долинин

О Пушкине, о Пастернаке.

Работы разных лет

ОТ АВТОРА

Для сборника, предлагаемого читателю, я отобрал 15 статей разных лет, с 1997 по 2021 год, посвященных, как явствует из названия, только двум авторам – Пушкину и Пастернаку. Этот выбор объясняется, конечно же, не аллитерацией на «П» их фамилий и даже не тем, что Пушкин занимал в творческом сознании Пастернака довольно важное место, о чем немало и неплохо писали, а определенным сходством задач, которые я ставил и решал в отобранных работах. По отношению как к Пушкину, так и Пастернаку меня в первую очередь интересовало выявление и исследование ранее незамеченных литературных источников, аллюзий и литературно-исторических контекстов, позволяющих уточнить, а в ряде случаев и изменить наше понимание рассматриваемых текстов.

Все статьи за одним исключением печатались ранее в журналах и научных сборниках (см. список в конце книги). В них внесены лишь небольшие изменения и дополнения, уточнена и унифицирована библиография и сняты посвящения адресатам юбилейных фештшифтов. Единственное исключение составляет статья «Историзм или провиденциализм? Пушкинская „История Пугачевского бунта“ в контексте французской романтической историографии» (2021), печатающаяся впервые. Она представляет собой новую, существенно переработанную и расширенную редакцию англоязычной статьи, опубликованной много лет назад¹.

В приложении к сборнику помещен (с некоторыми изменениями) мой комментарий к «Моцарту и Сальери», опубликованный в репринтном издании брошюры «Стихотворения А. С. Пушкина (Из „Северных цветов“ 1832 года)»². К моему огорчению, это научное издание с обширными комментариями (кроме меня, над ними работали А. С. Бодрова и О. А. Проскурин) осталось незамеченным за пределами неуклонно сужающегося круга пушкинистов. Мне известна лишь одна рецензия на него, появившаяся даже не в России, а в США³.

Комментарий к «Моцарту и Сальери», который содержит много ранее неизвестных сведений о происхождении легенды, приписавшей Сальери убийство Моцарта, и об источниках и аллюзиях пушкинского текста, если верить всезнающему интернету, до сих пор не был учтен ни в одной работе о «маленьких трагедиях». Именно это послужило основной причиной того, что я решил его републиковать, причем на этот раз он привязан не к прижизненной публикации текста по старой орфографии с опечатками и ошибками, а к его обычной модернизированной редакции, что позволило отказаться от пояснений чисто текстологического и историко-лингвистического характера.

В обоих разделах сборника использована стандартная система постраничных сносок. Она не распространяется лишь на героев книги. Произведения и письма Пушкина и Пастернака,

¹ Dolinin A. Historicism or Providentialism? Pushkin's *History of the Pugachev Rebellion* in the Context of French Romantic Historiography // *Slavic Review*. 1999. Vol. 58. No. 2 (Summer). P. 291–308. Я благодарен А. Л. Осповату, который своими замечаниями и советами помог мне улучшить русский вариант статьи.

² *Пушкин А. С. Сочинения: Комментированное издание* / Под общей ред. Дэвида М. Бетеа. Вып. 3: Стихотворения из «Северных цветов» 1832 года / Ред. А. Бодрова, А. Долинин. М., 2016. С. 33–171.

³ Ее автором был Майкл Вахтел (Michael Wachtel, Princeton University). См.: *Slavic and East European Journal*. 2017. Vol. 61. No. 4. P. 903–904.

за исключением особо оговоренных случаев, цитируются по полным собраниям их сочинений с указанием в скобках тома и страницы:

В первом разделе это *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений. 1837–1937: В 17 т. М.; Л., 1937–1959.

Во втором – *Пастернак Б. Л.* Полное собрание сочинений с приложениями: В 11 т. М., 2003–2005.

Кроме того, в первом разделе при ссылках на книги, сохранившиеся в библиотеке Пушкина, использовано сокращение: *Библиотека Пушкина* = *Модзалевский Б. Л.* Библиотека А. С. Пушкина (Библиографическое описание) // Пушкин и его современники.: Материалы и исследования. СПб., 1910. Вып. IX/X. С. 1–370.

В цитатах из изданий XVIII – начала XX века сохраняются основные особенности орфографии и пунктуации.

В приложении ссылки даются в круглых скобках внутри текста и ведут к списку литературы и принятых сокращений.

Все переводы с иностранных языков, если их авторы не указаны в сносках, выполнены мной.

При подготовке сборника к печати большую помощь мне оказала редактор книги Антонина Мартыненко. Без ее участия я бы, наверное, не смог справиться с технической стороной дела и пропустил бы целый ряд погрешностей. Спасибо, дорогая Тоня!

О Пушкине

ЕЩЕ РАЗ О ЗАГАДКЕ ТАВРИЧЕСКОЙ ЗВЕЗДЫ

Вот уже полтора века пушкинисты пытаются дознаться, о какой «деве юной» Пушкин писал в финале крымской элегии «Редет облаков летучая гряда» (1820; заглавие в рукописи «Таврическая звезда»; далее *РОЛГ*):

Редет облаков летучая гряда;
Звезда печальная, вечерняя звезда,
Твой луч осеребрил увядшие равнины,
И дремлющий залив, и черных скал вершины;
Люблю твой слабый свет в небесной вышине:
Он думы разбудил, уснувшие во мне.
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где всё для сердца мило,
Где стройны тополы в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны.
Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижины сходила ночи тень —
И дева юная во мгле тебя искала,
И именем своим подругам называла.

[II: 157]

Особый интерес к последним трем стихам элегии был вызван тем, что Пушкин не хотел предавать их тиснению, а после того как они все-таки, вопреки его желанию, были напечатаны в альманахе «Полярная звезда» на 1824 год, разгневался на А. А. Бестужева-Марлинского, редактора альманаха. «Конечно я на тебя сердит, — писал ему Пушкин, — и готов с твоего позволения браниться хоть до завтра. Ты напечатал именно те стихи, об которых я просил тебя: ты не знаешь до какой степени это мне досадно. Ты пишешь, что без трех последних стихов Элегия не имела бы смысла. Велика важность!» [XIII: 84]⁴. Полгода спустя, когда Ф. В. Булгарин в журнале «Литературные листки» процитировал слова Пушкина о том, что в «Бахчисарайском фонтане» он «суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины» [XIII: 88], Пушкин снова напомнил Бестужеву об инциденте с элегией:

Посуди сам: мне случилось когда-то быть влюблену без памяти. Я обыкновенно в [это время] таком случае пишу элегии, как другой мажет <?> <нрзб.> свою <?> кровать <?>. Но приятельское ли дело вывешивать на показ мокрые мои простыни? Бог тебя простит! но ты острамил меня в нынешней Звезде — напечатав 3 последние стиха моей Элегии; чорт дернул меня написать еще к стати о Бахч.<исарайском> фонт.<ане> какие-то чувствительные строчки и припомнить тут же элегическую мою красавицу. Вообрази мое отчаяние, когда увидел их напечатанными — журнал может

⁴ Письмо от 12 января 1824 года.

попасть в ее руки. Что ж она подумает [обо мне], видя с какой охотой беседую об ней *с одним из п. <етер>б. <ургских> моих приятелей*. Обязана ли она знать, что она мною не названа, что письмо распечатано и напечатано Булгариным – что проклятая Элегия доставлена тебе чорт знает кем – и что никто не виноват. Признаюсь, одной мыслию этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики⁵ [XIII: 100–101, 447].

Уже первые биографы Пушкина, основываясь на его письмах Бестужеву и на крымских воспоминаниях в целом ряде поэтических текстов, пришли к заключению, что в Крыму он был в кого-то влюблен и что эта чистая «утаенная любовь» на долгое время стала главной психологической пружиной пушкинского творчества. П. И. Бартенев в работе 1861 года писал:

К воспоминаниям о жизни в Гурзуфе несомненно относится тот женский образ, который беспрестанно является в стихах Пушкина, чуть только он вспомнит о Тавриде, который занимал его воображение три года сряду, преследовал его до самой Одессы, и там только сменился другим. В этом нельзя не убедиться, внимательно следя за стихами того времени. Но то была святыня души его, которую он строго чтит и берег от чужих взоров, и которая послужила внутреннею основою всех тогдашних созданий его гения. Мы не можем определенно указать на предмет его любви; ясно однако, что встретил он его в Крыму и что любил он без взаимности⁶.

В начале 1880-х годов А. И. Незеленов вслед за Бартевым приписывает Пушкину «вышненное, идеально-чистое чувство любви к какому-то неизвестному нам лицу», относя к «таинственно и свято любимой им девушке» две крымские элегии: РОЛГ и «Увы! зачем она блистает» (1820). Эта «таинственная любовь поэта в Тавриде, – утверждал он, – ярким лучом прошла <...> по всей его жизни и по всей деятельности»⁷. Тогда же П. П. Каратыгиным была предложена и первая кандидатура на роль предмета «утаенной любви» и адресата РОЛГ – Елена Николаевна Раевская, одна из четырех дочерей генерала Н. Н. Раевского, в семье которого Пушкин прожил три недели в Гурзуфе. По возрасту она более других сестер подходила к категории «юная дева»: в 1820 году ей было семнадцать лет, тогда как Екатерине уже двадцать три, Марии (будущей княгине Волконской) – шестнадцать⁸, а Софии – четырнадцать. Вот что писал Каратыгин о Елене (или Алене, как ее звал отец):

<...> красавица, высокая, стройная блондинка с прелестными голубыми глазами, скромная, застенчивая – произвела на поэта глубокое – не чарующее, но вернее – отрезвляющее впечатление. В ней, в течение двух, трех лет он видел воплощение музыки, вдохновлявшей поэта к созданию чистейших, девственно-прелестных стихотворений. Не только в стихотворениях 1820 года, но и во многих произведениях Пушкина последующих лет мы находим строфы, имеющие автобиографическое значение. Елена Николаевна, зная в совершенстве английский язык, переводила на французский Байрона

⁵ В данной работе мы не касаемся проблемы тождества «девы юной» РОЛГ и той «молодой женщины», которая якобы явилась вдохновительницей «Бахчисарайского фонтана». Великолепный критический обзор существующих точек зрения на биографический подтекст поэмы см. в комментариях О. А. Проскурина (*Пушкин. Сочинения: Комментированное издание / Под общ. ред. Д. М. Бетеа. Вып. 1: Поэмы и повести. Ч. 1. М., 2007. С. 279–283*).

⁶ *Бартенев П. И.* Пушкин в Южной России. М., 1914. С. 41. (Впервые работа опубликована в 1861 году).

⁷ Собрание сочинений профессора А. И. Незеленова. Т. 1: Александр Сергеевич Пушкин в его поэзии. Первый и второй периоды жизни и деятельности. (1799–1826). Историко-литературное исследование. СПб., 1903. С. 75–77.

⁸ Год рождения Марии Раевской до недавнего времени указывали по-разному: 1805, 1806 или 1807. Недавно Светлана Сыч обнаружила запись в метрической книге Святоиколаевской церкви местечка Камянка, из которой следует, что Мария родилась 22 июля (3 августа) 1804 года (см. в группе «Фейсбука» «Генеалогия и Семейная история»): <https://www.facebook.com/groups/169714816510441/permalink/1003142143167700/>, дата обращения: 23.11.2021).

и Вальтер Скотта, но недовольная своими трудами, разрывала свои переводы. Пушкин, найдя случайно клочки бумаги, обнаружил тайну скромной переводчицы... Расставшись с семейством Раевских, Пушкин любил вызывать в своем воображении этот прелестный призрак, припоминая самые маловажные эпизоды своего пребывания в семействе Раевских. <...> Таким образом, великий поэт долго не расставался с воспоминаниями о своей чистой идеальной любви к Е. Н. Раевской, но оно не удерживало Пушкина от разгульного образа жизни в кругу разнообразного «пестрого» населения Кишинева и Одессы⁹.

Гипотеза Каратыгина не получила широкой поддержки – наверное, в первую очередь потому, что о Елене Раевской мы знаем намного меньше, чем о ее сестрах. Только М. О. Гершензон и П. К. Губер, искавшие «утаенную любовь» Пушкина не среди сестер Раевских, а среди петербургских красавиц и потому считавшие, что в собственно крымских элегиях эротическое начало отсутствует, связали РОЛГ с образом Елены Раевской¹⁰, но они остались в меньшинстве. Массовым сознанием на многие десятилетия овладела разработанная П. Е. Щеголевым эффектная легенда, согласно которой «мучительным и таинственным предметом любви Пушкина на юге в 1820 и следующих годах» была Мария Раевская¹¹. Ее Щеголев отождествил

⁹ Каратыгин П. Наталья Николаевна Пушкина в 1831–1837 гг. // Русская старина. 1883. № 1. С. 51–52, 54. Еще ранее П. А. Ефремов указал, что Елена Раевская могла быть адресатом другой крымской элегии «Увы! зачем она блистает» (см. его примечания в кн.: Сочинения А. С. Пушкина / Под ред. П. А. Ефремова. 8-е изд., испр. и доп. Т. 1. М., 1882. С. 508), в которой говорится о юной девушке, обреченной «жизнью молодой <...> недолго наслаждаться». С этой атрибуцией и по сей день согласны многие исследователи, поскольку Елена страдала чахоткой и считалась обреченной на раннюю смерть. См., например, замечание Ю. М. Лотмана, отнесшего к Елене еще и стихи из «Бахчисарайского фонтана»: «Я помню столь же милый взгляд / И красоту еще земную» (Лотман Ю. М. Посвящение «Полтавы» (адресат, текст, функция) // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: Комментарий. СПб., 1995. С. 263) со ссылкой на письмо В. И. Туманского от 5 декабря 1823 года из Одессы, где он встречался с семьей Раевских: «Елена сильно нездорова; она страдает грудью и хотя несколько поправилась теперь, но все еще похожа на умирающую. Она никогда не танцует, но любит присутствовать на балах, которые некогда украшала» (Письма Вас. Ив. Туманского и неизданные его стихотворения. Чернигов, 1891. С. 54). О недуге Елены писал в своих воспоминаниях граф Олизар, познакомившийся с семейством Раевских зимой 1820–1821 года и сватавшийся к ней в 1828 году: «Елену можно бы было сравнить с цветком кактуса, так как она, подобно последнему, после пышного расцвета быстро увяла и, пораженная неизлечимой болезнью, влила тяжелую, исполненную страданий жизнь» (Мемуары графа Олизара // Русский вестник. 1893. Т. 228. № 9 (сентябрь). С. 102). Отказав Олизару, Елена, как сообщил Н. Н. Раевский-старший сыну Николаю, «по нездоровью своему уже положила остаться в девках» (Архив Раевских / Изд. П. М. Раевского. Ред. и примеч. Б. Л. Модзалевского. Т. 1. СПб., 1908. С. 443. Письмо от 3 апреля 1829 года). Л. П. Гроссман не без оснований думал, что воспоминаниями о Елене Раевской навеяна строфа «Осени»: Как это объяснить? Мне нравится она, Как, вероятно, вам чахоточная дева Порою нравится. На смерть осуждена, Бедняжка клонится без ропота, без гнева, Улыбка на устах увянувших видна; Могильной пропасти она не слышит зева; Играет на лице еще багровый цвет. Она жива еще сегодня, завтра нет [III: 319–320]. (Гроссман Л. Пушкин. М., 1939. С. 218). С другой стороны, Б. В. Томашевский пытался доказать, что стихотворение «Увы! зачем она блистает» в равной мере можно отнести и к Екатерине Раевской, которая в 1820 году была больна (Томашевский Б. В. «Таврида» Пушкина // Ученые записки Ленинградского государственного университета. Серия филологических наук. Вып. 16. Л., 1949. С. 122; ср. также: Кибальник С. А. Русская антологическая поэзия первой трети XIX в. Л., 1990. С. 185–186). Следует отметить, однако, что последние упоминания о нездоровье Екатерины в семейной переписке Раевских, которую цитирует Томашевский, датированы июнем – началом июля 1820 года, тогда как Пушкин встретился с нею в Гурзуфе лишь 19 августа. Судя по тому, что Н. Н. Раевский-старший называет болезнь Екатерины «расслаблением» и рекомендует ей «железные воды» (Архив Раевских. Т. 1. С. 516–517, 524), речь шла о нервном расстройстве или анемии, но никак не о неизлечимой, угрожающей жизни легочной болезни, при которой минеральные воды считались противопоказанными (см.: Грум К. Полное, систематическое, практическое описание минеральных вод, лечебных грязей и купаний русских и заграничных: В 2 ч. СПб., 1855. Ч. 1. С. 67 et passim).

¹⁰ Гершензон М. О. Северная любовь А. С. Пушкина // Вестник Европы. 1908. Т. 249. Кн. 1 (январь). С. 286; Губер П. К. Дон-Жуанский список Пушкина. СПб., 1923. С. 76–77.

¹¹ См.: Щеголев П. Е. Из разысканий в области биографии и текста Пушкина // Пушкин и его современники. Вып. XIV. СПб., 1911. С. 53–193. В дальнейшем работа многократно перепечатывалась под разными названиями. Последняя редакция: Щеголев П. Е. Пушкин. Исследования, статьи и материалы / Изд. 3-е, просмотр. и доп. Т. 2. М.; Л., 1931. С. 150–254. Гипотезе Щеголева предшествовало замечание Н. Ф. Сумцова, писавшего, что предметом крымской возвышенной любви Пушкина могла быть либо Елена, либо Мария Раевская (Сумцов Н. Этюды об А. С. Пушкине. Вып. 1. Варшава, 1893. С. 33).

как с «элегической красавицей» РОЛГ, так и с той женщиной, чей рассказ Пушкин якобы переложил в «Бахчисарайском фонтане»¹². По саркастической оценке М. Л. Гофмана,

Щеголевская легенда известна каждому гимназисту VII класса и принята и широкой публикой, и пушкинизмом, и каждый новоиспеченный пушкинист считает своим долгом «внести свой вклад» и прибавить еще одно стихотворение к циклу стихов, якобы связанных с «утаенной любовью» к Раевской, – иначе говоря, еще более запутать вопрос и подменить истину о Пушкине легендой¹³.

Параллельно с «мариинской партией» в пушкинистике XX века сформировалась и партия «екатерининская»¹⁴, к которой принадлежали, в частности, упомянутый выше М. Л. Гофман¹⁵ и Б. В. Томашевский. Последний в 1949 году опубликовал документ, полностью разъяснивший, по убеждению исследователя, кого именно разумел Пушкин в последних строках РОЛГ, – фрагмент письма Михаила Федоровича Орлова жене Екатерине Николаевне (в девичестве Раевской) от 23 июля 1823 года, где говорилось:

Au milieu de ce tas d'affaires, les unes plus ennuyeuses que les autres, votre image se présente à moi comme une amie et je me rapproche de vous ou du moins je crois me rapprocher dès que je vois la fameuse Etoile que vous m'avez indiquée. Vous pouvez être sûre qu'au moment où elle se lève sur l'horizon je guette son apparition sur mon balcon¹⁶.

[Пер.: Среди кучи дел, одни докучнее других, я вижу твой образ как образ милой подруги и приближаюсь к тебе или воображаю тебя близкой всякий раз, как вижу достопамятную Звезду, которую ты мне указала. Будь уверена, что едва она восходит над горизонтом, я ловлю ее появление с моего балкона.]

Письмо М. Ф. Орлова убедило многих пушкинистов в том, что «девой юной» РОЛГ была Екатерина Раевская. Ю. М. Лотман, например, полагал это бесспорно доказанным фактом¹⁷. «После исследования Томашевского, – утверждает В. М. Есипов, – можно считать установленным, что женщина, к которой обращена эта элегия, звалась Екатериной»¹⁸.

Но так ли это?

Нам кажется, нет, ибо Орлов ничего не говорит о том, что указанная Екатериной звезда может быть названа ее именем. Насколько мы можем судить, не встречается имя Екатерина и в астрономике – как древней, так и современной Пушкину. Правда, В. В. Набоков сделал попытку разрешить противоречие, предположив, что Екатерина Раевская, красавица, подобная Венере («a very Venus in beauty»), наверное, отождествляла себя с Кипридой и в шутку

¹² Щеголев П. Е. Пушкин. Исследования, статьи и материалы. Т. 2. С. 202–205.

¹³ Гофман М. Л. Пушкин – Дон-Жуан. Париж, 1935. С. 46. Характерным примером некритического усвоения идей Щеголева может служить специальная монография: Соколов Б. М. М. Н. Раевская – княгиня М. Волконская в жизни и поэзии Пушкина. М., 1922.

¹⁴ Впервые гипотеза о любви Пушкина к Екатерине Раевской, отразившейся в РОЛГ, «Нереиде» и некоторых других стихотворениях, была в осторожной форме высказана киевским исследователем А. М. Лободой в статьях «А. С. Пушкин в Каменке» (Лобода А. М. А. С. Пушкин в Каменке // Университетские известия. 1899. № 5: Памяти Пушкина. Киев. Отд. II. С. 96) и «Пушкин и Раевские» (Лобода А. М. Пушкин и Раевские // Пушкин А. С. [Сочинения]: В 6 т. СПб., 1908. Т. 2. С. 106–107 (Библиотека великих писателей под ред. С. А. Венгерова)).

¹⁵ См.: Гофман М. Л. Пушкин – Дон-Жуан. С. 34–38.

¹⁶ Цит. по: Томашевский Б. В. Пушкин. Кн. 1 (1814–1823). М.; Л., 1956. С. 488; перевод автора. В первой публикации документа французский оригинал был опущен (Томашевский Б. В. «Таврида» Пушкина. С. 121).

¹⁷ Лотман Ю. М. Посвящение «Полтавы» (адресат, текст, функция). С. 261.

¹⁸ Есипов В. М. Пушкин в зеркале мифов. М., 2006. С. 51.

приветствовала вечерний восход Венеры ученой игрой с именами: «katharos and Kypris, Kitty R. and Kytheria»¹⁹. Однако это всего лишь беспочвенная догадка, притом заведомо недобросовестная, так как она основана на игнорировании правильных ударений и произносительных норм. По сути дела, из письма Орлова следует лишь, что у Екатерины была какая-то своя заветная звезда или планета, появление которой на вечернем небосклоне имело для них с мужем некий важный интимный смысл. Но подобные же заветные звезды могли быть и у других сестер Раевских, чьи имена, в отличие от имени Екатерины, имеют прямые астрономические соответствия.

Вопрос о «звездных» параллелях к имени Мария уже поднимался в пушкинистике.

«Через И. Н. Розанова мы узнали, – писал Б. М. Соколов, – что Вячеслав Ив. Иванов, толкуя в руководимом им Пушкинском семинарии это стихотворение <РОЛГ>, <...> объяснил, что в католическом мире Венера (Таврическая звезда) носит, между прочим, название „Звезды Марии“»²⁰. Малограмотное объяснение Соколова попробовал уточнить В. В. Вересаев, писавший:

От М. О. Гершензона я слышал, что Вяч. Ив. Иванов толкует разбираемое место так: в средневековых католических гимнах дева-Мария называется *stella maris* (звезда моря), а *stella maris* было название планеты Венеры. Мне такое объяснение представлялось слишком ученым и громоздким: ну, где было знать Пушкину и девицам Раевским, как называли деву-Марию средневековые католические гимны? Однако, веское подтверждение мнению Вяч. Ив. Иванова мы находим в черновике Пушкинского «Акафиста К. Н. Карамзиной»:

Святой Владычице,
Звезде морей, небесной деве... [III: 597]

Значит, Пушкину было известно название девы-Марии – *stella maris*.²¹

К сожалению, В. В. Вересаев не исправил главную ошибку Вячеслава Иванова (или кого-то из посредников) и не указал, что словосочетание *Stella maris* (или *Maris stella*) – прономинация Девы Марии, считавшаяся переводом древнееврейского имени Мариам, – никогда не было и не могло быть названием Венеры как вечерней звезды. Католическая традиция, восходящая к отцам церкви, сопоставляет Деву Марию к путеводной звезде, с помощью которой христианин должен провести «кораблик своей души» через бурное море искушений и грехов в гавань вечного спасения. «Смотри на звезду, взывай к Марии» («respice stellam, voca Mariam») – гласил рефрен знаменитой 17-й главы второй проповеди св. Бернара Клервоского «De laudibus Virginis Matris», где уподобление Богоматери «звезде моря» развернуто в выразительную аллегорическую картину²². Соответственно, в средневековой астрономике *Stella maris* стало одним из общеупотребительных названий Полярной звезды, которая почти не движется при суточном вращении звездного неба, является удобным ориентиром при навигации и поэтому считается символом устойчивости, неизменности, веры, надежды, любви, добродетели и спа-

¹⁹ *Pushkin A. Eugene Onegin. A Novel in Verse / Transl. from the Russian, with a Commentary, by Vladimir Nabokov. Vol. II. Part 1: Commentary and Index. Princeton University Press, 1990. P. 125 (первой пагинации).*

²⁰ *Соколов Б. М. М. Н. Раевская – княгиня М. Волконская в жизни и поэзии Пушкина. С. 23–24.*

²¹ *Вересаев В. В. Таврическая звезда // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Вып. 37. Л., 1928. С. 124.*

²² *Sancti Bernardi abbatis Clarae-Vallensis opera omnia... / Editio quarta, emendate et aucta. Vol. III. Paris, 1839. P. 1683–1684.* О воздействии этой аллегии на литературу позднего Средневековья и в том числе на «Рай» Данте см.: *Boitani P. The Tragic and the Sublime in Medieval Literature. Cambridge University Press, 2010. P. 193–194.*

сения²³. В XV веке св. Бернардин посвятил сопоставлению Девы Марии и Полярной звезды большую часть одной из проповедей²⁴; в специальной литературе XVIII и XIX веков о синонимичности названий *Stella maris* и *Stella polaris* говорится как о факте, хорошо известном читателю²⁵. Таким образом, если Пушкин в последних строках РОЛГ подразумевал Марию и *Stella maris*, то ключом к разгадке становилось само название альманаха, где элегия была впервые напечатана.

«Мариинскую» гипотезу, однако, приходится отвергнуть – прежде всего потому, что пушкинское описание «Таврической звезды» в РОЛГ к Полярной звезде неприменимо: у Пушкина «вечерняя звезда» восходит, тогда как Полярная звезда всегда стоит на одном месте; у Пушкина луч звезды осеребряет залив и горы, тогда как Полярная звезда светит не очень ярко и ничего осеребить, конечно же, не может. Кроме того, очень трудно себе представить, чтобы шестнадцатилетняя Мария Раевская изучала средневековых экзегетов или астрономические справочники. Навряд ли был знаком с ними и молодой Пушкин.

Другое дело – античная мифология, в которой, как заметил П. К. Губер, имеется «миф о превращении в звезду Елены Спартанской. Этот миф могли знать и сестры Раевские, и Пушкин. Наконец, поэту еще со времени лицейских уроков должна была быть известна Горацианская строка:

...fratres Helenae, lumina <sic! правильно: lucida> sidera.

По всем этим соображениям, „Таврическая звезда“ скорее всего должна быть относима к Елене Раевской»²⁶.

Над ссылкой Губера на стих Горация (Оды. I, 3, ст. 2; букв. пер.: «братья Елены, яркие звезды») посмеялся М. Л. Гофман, справедливо указавший, что «Гораций говорит о созвездии Кастора и Поллукса, а не о звезде Елены»²⁷. Очевидно, никто не поверил и в существование мифа о превращении Елены Прекрасной в звезду, и напрасно: такой миф действительно существует, причем главным его источником является трагедия Еврипида «Орест», которую и Пушкин, и сестры Раевские могли читать во французском переводе. Процитируем из него слова Аполлона в финале трагедии, возвещающие судьбу Елены ее убийцам, Оресту и Пилладу:

[Hélène] est cet astre que vous voyez dans les cieux; elle vit encore et n'a point succombe sous vos coups. <...> Assise dans les cieux auprès de Castor et de Pollux, elle sera désormais un signe favorable aux Nautonniers²⁸.

[Букв. пер.: [Елена] – это та звезда, которую вы видите в небесах; она по-прежнему жива и не пала под вашими ударами. <...> Восседающая на небесах рядом с Кастором и Поллуксом, она отныне будет благоприятным знаком для мореплавателей.]

Та же версия была зафиксирована в популярном французском мифологическом словаре:

...elle [Hélène] fut enlevée par Apollon et placée parmi les étoiles²⁹.

²³ См., например, в оде Н. М. Карамзина «К добродетели»: «Оно [северное сияние] угасло – но блистает / Еще Полярная звезда, / Так Добродетель никогда / Во мраке нас не оставляет!» (Карамзин Н. М. Полное собрание стихотворений / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Ю. М. Лотмана. М.; Л., 1966. С. 295).

²⁴ Sancti Bernardini sehis ordinis seraphici minorum Sermones eximii de Christo domino... Т. 4. Venetiis, 1745. P. 73. Подробнее об этом см.: Barbier J.-A. (*L'abbé*). La Sainte Vierge d'après les pères. Т. I. Lyon; Paris, 1867. P. 79–91.

²⁵ См., например: Lartigaut A. Sphere historique: ou Explication des signes du zodiaque, des planets, et des constellations. Paris, 1716. P. 249; Allen R. H. Star-names and Their Meaning. New York; London, 1899. P. 453–454.

²⁶ Губер П. К. Дон-Жуанский список Пушкина. С. 77.

²⁷ Гофман М. Л. Пушкин – Дон-Жуан. С. 58, примеч. 4.

²⁸ Les tragedies d' Euripide, traduites du Grec, par M. [P.] Prevost. Т. I. Paris, 1782. P. 260.

²⁹ Chompré P. Dictionnaire portatif de la fable. Т. I. Paris, 1801. P. 479.

[Букв. пер.: ...ее [Елену] забрал Аполлон и поместил среди звезд.]

Звезда Елены фигурирует и в нескольких латинских текстах – например, в «Естественной истории» Плиния (II, 37) и в «Фиваиде» Стация, но здесь она, в отличие от звезд ее братьев, становится провозвестницей несчастья и даже слетает с небес на мачты и паруса кораблей во время шторма³⁰. У того же Стация в «Сильвах» (III, 2) поэт, отправляясь в плавание, просит близнецов Диоскуров сопровождать его корабль своими огнями и гнать прочь «штормовую звезду сестры» («*nimbosa sororis astra*»). Французский переводчик заменил «штормовую звезду» на «зловещие огни» («*les feux sinistres*»), а «сестру» на «роковую красавицу» («*la beauté fatale*»), виновную в разрушении Илиона³¹. Весьма вероятно, что на эту замену его вдохновил один из «Сонетов к Елене» Ронсара (I, 3), где искусно обыгрывается латинский вариант мифа о звезде (более ранний вариант: огнях) Елены Прекрасной. С ней поэт сравнивает глаза своей возлюбленной, носящей то же «роковое имя», воспевая счастье быть несчастным и страдать от любви к недоступной, холодной красавице:

Heureux celui qui souffre une amoureuse peine
Pour un nom si fatal: heureuse la douleur,
Bien-heureux le torment, qui vient pour la valeur
Des yeux, non pas des yeux, mais de l' astre [des flames] d' Helene³²

[Букв. пер.: Блажен тот, кого терзает любовная боль / Из-за столь рокового имени: блаженно страдание, / Вдвойне блаженна мука, которую причиняют / Глаза, нет, не глаза – звезда [огни] Елены].

Как пояснял первый комментатор Ронсара Николя Ришеле, речь здесь идет о чудесном огне (свете), дурном предзнаменовании для мореплавателей, о котором писал Плиний («*un feu prodigieux et de mauvais presage pour les Mariniers, se dit Plin*»), а общий смысл сонета сводится к следующему: Ронсар «воспевает страдания тех, чья любовница носит имя Елены. <...> Согласно стоикам, которые дают определение любви, это решимость перенести все возможные муки ради единственного объекта прекрасного. <...> Нужно сказать, что его Дама столь же целомудрена, сколь прекрасна»³³. Поскольку Пушкин, как мы знаем, был весьма низкого мнения о поэзии Ронсара³⁴, у нас нет больших оснований предполагать его раннее знакомство с

³⁰ Ср. во французских переводах Плиния и Стация: «...quand l' étoile est jumelle, c'est un excellent présage, et l' augure d' une heureuse navigation. On croit que son apparition met en fuite cette autre étoile funeste et menaçant, qu'on nomme Héléne» (*Histoire naturelle de Plin* traduite en françois, avec le texte latin... Paris, 1771. P. 131; букв. пер.: «...когда появляется двойная звезда, это прекрасное предзнаменование, предвестница счастливого плавания. Считается, что ее появление обращает в бегство другую – зловещую и грозную звезду, носящую имя Елены»). «Tel, dans une nuit ténébreuse, battu par les noirs tourbillons du Corus, un vaisseau sait qu'il va périr, lorsque l' étoile d' Hélène a lui à travers les voiles déjà condamnées, et a chassé devant elle ses frères de Thérapnée» (Stace, Martial, Manilius, Lucilius Junior, Rutilius, Gratus Faliscus, Némésianus et Calpurnius. *Œuvres complètes avec la traduction en français*, publiées sous la direction de M. Nisard. Paris, 1812. P. 211; букв. пер.: «Так, темной ночью, корабль, разбитый черными вихрями Коруса, знает, что он обречен, потому что звезда Елены его уже приговорила, прорвав паруса, и отогнала прочь своих братьев из Терапны»).

³¹ Silves de Publius Papinius Stace, traduites, d' après les corrections de J. Markland, avec le texte et des notes, par M. S. Delatour. Paris, An XI (1802). P. 177.

³² Ronsard P. *Œuvres complètes* / Éd. établie, présentée et annotée par J. Céard, D. Ménager et M. Simonin. Paris, 1993. P. 342, коммент. 1363 (Bibliothèque de la Pléiade).

³³ *Œuvres de Pierre de Ronsard, Gentilhomme Vandosmois, Prince des Poetes François*. Paris, 1617. P. 482–483.

³⁴ См. об этом: *Томашевский Б. В.* Пушкин и Франция. Л., 1960. С. 101–102; *Вольперт Л. И.* Ронсар // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 18/19: Пушкин и мировая литература. Материалы к «Пушкинской энциклопедии». СПб., 2004. С. 293–294. Справедливости ради заметим, что все негативные отзывы Пушкина о Ронсаре относятся к 1830-м годам, когда у него сложилась целостная система взглядов на историю французской поэзии, отчасти полемическая по отношению к молодым французским романтикам, считавшим именно Ронсара своим литературным праотцем. В Лицее же он должен был читать

«Сонетами к Елене», но какие-то общие представления о существовании поэтической традиции, связывающей Елену Прекрасную с необычайной таинственной звездой, носящей ее имя, а звезду Елены, в свою очередь, – с образом идеальной возлюбленной, он вполне мог получить еще в лицейские годы.

Поскольку звезда Елены, в отличие от звезд ее братьев, не ассоциировалась с каким-либо конкретным небесным телом, ученые позитивистской эпохи оживленно обсуждали, что же могли иметь в виду древние – огни св. Эльма (как полагал еще Декарт³⁵), метеоры, кометы, блуждающие звезды или шаровые молнии³⁶. Однако именно отсутствие конкретной астрономической привязки давало большую свободу для всевозможных мифопоэтических применений. Так, в огромном компендиуме древних легенд и мифов, составленном Антуаном Кур де Гибелином, утверждалось, что звезда Елены – это не что иное, как название Луны:

Helene, nom de la Lune, qu'ils changerent ensuite en Selene, nom vulgaire de la Lune, tandis que cet Astre continue de s'appeller Hélène dans les fables allégoriques³⁷.

[Букв. пер.: Елена, имя Луны, которое впоследствии заменили на Селену, вульгарное имя Луны, тогда как в аллегорических рассказах эту Звезду продолжают называть Еленой.]

Полное отождествление Елены и Селены представляет для нас особый интерес, поскольку пейзаж в РОЛГ написан так, что звезду, его освещающую, – если бы не эпитет «вечерняя», отсылающий к Венере-Весперу, – следовало бы считать лунной:

Звезда печальная, вечерняя звезда,
Твой луч осеребрил увядшие равнины,
И дремлющий залив, и черных скал вершины³⁸.

стихи Ронсара в ученических целях, как памятник французской поэзии, и что-то из прочитанного не могло не отложиться в его памяти. В этой связи следует, на наш взгляд, внимательнее отнестись к предположению, что в лицейском франкоязычном стихотворении «Stances» («Avez-vous vu la tendre rose...») Пушкин подражал оде Ронсара «À sa maîtresse» («Mignonne, allons voir si la rose...») – см.: *Дашкевич Н. П.* Пушкин в ряду великих поэтов // Университетские известия. 1899. № 5: Памяти Пушкина. С. 146; *Ороховацкий Ю. И.* Пушкинское подражание Ронсару (К вопросу о французских стихах А. С. Пушкина) // Пушкинский сборник. Л., 1977. С. 134–138. Л. И. Вольперт в указанной выше статье и авторы комментария к «Stances» в новейшем собрании сочинений Пушкина (*Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 20 т. СПб., 1999. Т. 1: Лицейские стихотворения 1813–1817. С. 622) утверждают, что очевидное тематическое сходство двух текстов (в обоих расцвет и увядание розы сравниваются с расцветом и будущим увяданием желанной красавицы, которой предлагается сделать из этого понятно какие выводы) объясняется тем, что к началу XIX века данная тема давно стала общим местом французской поэзии. Однако, как вполне убедительно показал Ю. И. Ороховацкий, пушкинские «Stances» связаны с «À sa maîtresse» не только темой, но и метром, словарем (в частности, совпадают три рифменных слова на одних и тех же позициях) и «логико-эмоциональной композицией». Добавим также, что у Пушкина, как и у Ронсара, лирический герой обращается к своей возлюбленной на «вы» – очевидный анахронизм для поэзии конца XVIII века. Подражание тем более вероятно, что до 1820-х годов ода «À sa maîtresse» была самым известным стихотворением Ронсара, положенным на музыку (см. текст с нотами: *Anthologie française, ou Chansons choisies, Depuis le 13e Siècle jusqu'à présent*. Т. I. Paris, 1765. P. 27–28) и многократно антологизированным. Так, Мармонтель в авторитетном труде «Элементы литературы» приводит его как лучший образец «анакреонтической оды» (*Marmontel [J.-F.]. Éléments de littérature*. Т. I. Paris, 1787. P. 200).

³⁵ Œuvres de Descartes publiées par Victor Cousin. Т. 5. Paris, 1824. P. 253.

³⁶ См., например: *Martin Th.-H.* [1] La foudre, l'électricité et le magnétisme chez les anciens. Paris, 1866. P. 224, 230–232; [2] La foudre et le feu Saint-Elme dans l'antiquité // *Revue archéologique*. Nouvelle série. 1866 (Janvier à Juin). Vol. XIII. P. 168–173; *Jaisle K.* Die Dioskuren als Retter zur See bei Griechen und Römern und ihr Fortleben in christlichen Legenden. Tübingen, 1907. S. 17–21; *Cook A. B.* Zeus God of the Bright Sky. Vol. I. Cambridge, 1914. P. 771–775.

³⁷ *Gébelin A. C. de.* Monde primitif, analysé et comparé avec le monde moderne, considéré dans l'histoire civile, religieuse et allégorique, ou Almanach / Nouvelle éd. Т. IV. Paris, 1782. P. 43. О Елене как богине Луны в поздней античности см.: *Chapouthier F.* Les Dioscures au service d'une Déesse. Étude d'iconographie religieuse. Paris, 1935. P. 231–234; *Lindsay J.* Helen of Troy. Woman and Goddess. London, 1974. P. 211.

³⁸ Во французской и английской поэзии «печальная звезда» (astre mélancolique; melancholy star) – это устойчивое обозначение Луны. Из многочисленных примеров выделим близкое по теме к РОЛГ стихотворение Байрона «Солнце бессонных» («Sun of the sleepless») из цикла «Еврейские мелодии», которое начинается с обращения к луне: «Sun of the

На это указывает фактически тот же пейзаж, но с месяцем вместо звезды, в незавершенном черновике другого «крымского» стихотворения, «Кто видел край, где роскошью природы...» (1821):

Когда луны сияет лик двурогой
И луч ее во мраке серебрит
Немой залив и [склон горы] отлогой... [II: 191]

Те признаки, которыми в РОЛГ наделена вечерняя звезда, – печальность, серебристость, лучистость – в других произведениях Пушкина, когда речь идет о небесных светилах, всегда относятся исключительно к луне³⁹. Вот перечень соответствующих примеров в хронологическом порядке:

В облаках луна серебрила
Дальни небеса...

(«Козак», 1814 [I: 48])

И завес рощицы струится
Над тихо-спящею волной,
Осеребренною луной.

(«Послание к Юдину», 1815 [I: 172])

Не выдет он взглянуть на горы,
Осеребренные луной...

(«Гроб юноши», черновая редакция [II: 702])

На небесах печальная луна...

(первая строка стихотворения без названия, 1825 [II: 418])

Но в темном зеркале одна
Дрожит печальная луна...

(«Евгений Онегин», гл. 5 [VI: 101])

sleepless! melancholy star! / Whose tearful beam glows tremendously far, / That show'st the darkness thou canst not dispel, / How like art thou to joy remember'd well» (Франц. пер. А. Пишо: «Soleil de ceux qui ne goûtent plus le sommeil, astre mélancolique, dont la molle et tremblante lueur nous montre les ténèbres que tu ne peux dissiper, combien tu ressembles au souvenir du bonheur qui n'est plus!») (Œuvres complètes de Lord Byron, traduites de l'anglais par M. A. P[ichot]. T. IV. Paris, 1821. P. 349). Любопытно, что друг Байрона, композитор Исаак Натан, положивший «Еврейские мелодии» на музыку, просил поэта разъяснить, к какому светилу обращено «Солнце бессонных» – к луне или к вечерней звезде (см.: *Nathan I. Fugitive Pieces and Reminiscences of Lord Byron*. London, 1829. P. 81).

³⁹ Отметим, что в других случаях вечерняя звезда у Пушкина либо не имеет признаков («Близ мест, где царствует Венеция златая, / Один, ночной гребец, гондолой управляя / При свете Веспера по взморию плывет» [III: 66]), либо окрашена в золотой цвет: «О Делия драгая! / Спеши, моя краса; / Звезда любви златая / Взошла на небеса» («К Делии» [I: 272]); «Ночь светла; в небесном поле / Ходит Веспер золотой» [III: 473].

...В поле чистом,
Луны при свете серебристом,
В свои мечты погружена
Татьяна долго шла одна.

(«Евгений Онегин», гл. 7 [VI: 145])

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально [черновой автограф:
«печальный»] свет она.

(«Зимняя дорога», 1826 [III: 42, 585])

Луна, блистая, восходила
И скал вершины серебрила.

(«Тазит», 1829–1830 [V: 78])

Луна печально серебрила

(черновик «Тазита» [V: 356])

Подобная фразеология ничуть не оригинальна. «Печальная луна» появляется, например, в стихотворении В. В. Капниста «На смерть Юлии» (1794), вскоре ставшем популярной песней («Уже со тьмою ночи / Простерлась тишина, / Выходит из-за рощи / Печальная луна»⁴⁰), а также у В. Л. Пушкина в отрывке из «Кольмы» Оссиана (1795), где она к тому же еще и серебрит воды, как в РОЛГ:

Луна печальная уж осребряет воды,
А ты еще нейдешь к возлюбленной своей⁴¹.

Похожее описание находим и в оссианическом отрывке В. Олина, где, кстати сказать, лексика и рифма «вершины – долины» близки к соответствующим пушкинским стихам, а луна и звезда оказываются окказиональными синонимами:

Как ранняя звезда, как ясная луна,
Лиюща тихий свет на злчных гор вершины
И серебряюща источники, долины⁴².

Укажем еще на три примера из стихотворений К. Н. Батюшкова:

Красный месяц с свода ясного
Тихо льет свой луч серебряный...

⁴⁰ Капнист В. В. Собрание сочинений: В 2 т. М.; Л., 1960. Т. 1. С. 132.

⁴¹ Пушкин В. Л. Отрывок из Оссиана. Колма // Приятное и полезное препровождение времени. 1795. Ч. 6. С. 118.

⁴² Олин В. Н. Отрывки из эпической поэмы Оссиана, под названием: Сражение при Лоре // Сын отечества. 1817. Ч. 37. № 13. С. 229.

(«К Филисе. Подражание Грессету»)

Как месяц в тишине великолепно шел,
Лучом серебряным долины освещая...

(«Пастух и соловей. Басня»)

Где месяц осребрил угрюмые твердыни
Над спящею водой.

(«На развалинах замка в Швеции»)⁴³

Обращаясь к Венере, загризированной под луну, Пушкин скрещивает несколько традиций и их семантических полей. Во-первых, это весьма важные для предромантической поэзии и прозы традиции эротизированных описаний лунной ночи, вызывающей любовное томление и меланхолию. Во-вторых, традиция поэтических обращений влюбленного мужчины к «золотому» Вesperу/Гесперу с просьбой осветить ему путь на свидание. Она восходит к 16-й идиллии Биона, которую до конца XIX века часто приписывали Мосху. Приведем ее основной вариант в более или менее точном современном переводе:

Геспер, ты светоч златой Афродиты, любезной для сердца!
Геспер, святой и любимый, лазурных ночей украшенье!
Меньше настолько луны ты, насколько всех звезд ты светлее.
Друг мой, привет! И когда к пастуху погоню мое стадо,
Вместо луны ты сиянье пошли, потому что сегодня
Чуть появилась она и сейчас же зашла. Отправляюсь
Я не на кражу, не с тем, чтобы путника ночью ограбить.
Нет, я люблю. И тебе провожать подобает влюбленных⁴⁴.

Д. П. Якубович, назвавший идиллию Биона «эллинским первообразом» РОЛГ, предположил, что Пушкин познакомился с нею по антологии своего лицейского учителя Н. Ф. Кошанского «Цветы греческой поэзии» (1811), куда вошли ее прозаический пересказ, неуклюжий поэтический перевод и комментарий⁴⁵. Интересно, что Кошанский почему-то полагал, что «сие приветствие Гесперу» написано в «духе уныния» и, прочитав его, «невольнo придешь в некоторую томную меланхолию»⁴⁶ – характеристика, более соответствующая элегическому РОЛГ, нежели весьма бодрому античному образцу. Можно с уверенностью утверждать также, что

⁴³ Батюшков К. Н. Полное собрание стихотворений / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Н. В. Фридмана. М.; Л., 1964. С. 67, 78, 172.

⁴⁴ Феокрит. Мосх. Бйон. Идиллии и эпиграммы / Пер. и коммент. М. Е. Грабарь-Пассек. М., 1958. С. 179. Интересно, что Джакомо Леопарди в примечании к своему переводу этой идиллии отметил ее сходство с «Гимном Луне» («A Hymn to the Moon») английской писательницы Мэри Монтегю (см.: The Works of the Right Honorable Lady Mary Wortley Montagu ... in 5 vols. London, 1803. Vol. V. P. 226–227), где, как и у Пушкина, смешаны атрибуты Луны и Венеры (Opere di Giacomo Leopardi. Edizione accresciuta, ordinata e corretta da Antonio Ranieri. Napoli, 1860. P. 177). В итальянской и французской культуре «Гимн Луне» был известен благодаря похвалам Альгаротти, который привел его английский текст в своих «Размышлениях на разные темы» (см.: Œuvres du Comte Algarotti. Traduit de l' Italien. Vol. V. Berlin, 1772. P. 322).

⁴⁵ Якубович Д. П. Античность в творчестве Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. [Вып.] 6. М.; Л., 1941. С. 132–133.

⁴⁶ Цветы греческой поэзии, изданные Николаем Кошанским, доктором философии, надворным советником и профессором Российской и латинской словесности при императорском Царско-Сельском Лицее. М., 1811. С. 97. В качестве русской параллели к идиллии Кошанский приводит обращение к «печальной луне» в стихотворении Капниста «На смерть Юлии», о котором речь шла выше (Там же. С. 103).

Пушкин знал и по крайней мере один из французских источников Кошанского – прозаический перевод идиллий Биона и Мосха, выполненный Жульеном-Жаком Мутонне де Клерфоном⁴⁷. Впрочем, интерес к образу вечерней звезды у него должны были возбудить не какие-то конкретные переводы, а сама богатая французская (и шире – западноевропейская) традиция поэтических обработок идиллии, указывавшая на ее большой литературный вес и пригодность для адаптации к разным жанровым и стилистическим модусам, – традиция, на которую Пушкин ориентировался и к которой стремился присоединиться⁴⁸. Среди известных французских

⁴⁷ *Moutonnet de Clairfon J.-J. Anacréon, Sapho, Bion, Moschus, Théocrite, Musée, La veillée des fêtes de Vénus, Choix de Poésies de Catulle, d' Horace et de différens Auteurs / 2e éd., revue et corrigée. T. 2. Paris, 1781. P. 1–2* («Вечерняя звезда» напечатана как первая идиллия Мосха под заглавием «Молитва пастуха» – «Prière d' un Berger»). Чтобы убедиться в том, что Кошанский отталкивался от указанного источника, сравним начало двух переводов:

Кошанский (С. 282)

О Геспер тихий и прелестный!
Краса полунощи,
Киприды свет любезный,
Приветствую тебя!

Moutonnet de Clairfon

Hespérus, brillante lumière de l'aimable
Cythérée, je te salue,
Étoile chéri, le plus
bel ornement d'une nuit azurée!

О знакомстве Пушкина с переводами Мутонне де Клерфона свидетельствует его стихотворение «Земля и море» (1821), переложение пятой идиллии Мосха, написанное примерно в то же время, что и РОЛГ, и включенное вместе с последним в раздел «Подражания древним» сборника «Стихотворения» 1826 года. С давних пор считается, что главным источником Пушкина был вольный стихотворный перевод Кошанского, напечатанный под названием «К спокойствию» в его «Цветах греческой поэзии» (текст перевода, историю вопроса и обоснование общепринятой точки зрения см. в последней по времени работе: *Киба́ль-ник С. А. Идиллия Пушкина «Земля и море» (Источники, жанровая форма и поэтический смысл) // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 29. СПб., 2004. С. 178–197*). В действительности же, как показывает сопоставительный анализ текстов, главным источником «Земли и моря» явился прозаический перевод Мутонне де Клерфона «Son amour pour la tranquillité» («Его любовь к спокойствию»; далее цит. по: *Moutonnet de Clairfon J.-J. Anacreon, Sapho, Bion, Moschus, Théocrite, Musée, La veillée des fêtes de Vénus, Choix de Poésies de Catulle, d' Horace et de différens Auteurs. T. 2. P. 29–30*). Вот наиболее явные лексико-грамматические схождения, которые отсутствуют в переводе Кошанского

Пушкин [II: 162]

Когда же волны по берегам
Ревут, кипят и пеной блещут

Я удаляюсь от морей
Земля мне кажется верней
рыбак суровый:
Живет на утлом он челне

Moutonnet de Clairfon

mais quand l'onde ... mugit horriblement, ... que
les vagues ... s'élèvent à gros bouillons pleins
d'écume

je m'éloigne de la mer
Le terre... me paroît un séjour plus sûr
Le pêcheur ... mène une vie bien dure ...
sa maison, c'est une frêle barque

Судя по совпадению названий и нескольких мотивов в начальных стихах, Кошанский тоже пользовался переводом Мутонне де Клерфона, чем объясняются давно замеченные пушкинистами лексические совпадения первых семи стихов его переложения с «Землей и морем». Но, кроме того, у него был и другой французский источник, за которым он близко следовал во второй части текста, начиная с восьмого стиха: вольный прозаический перевод аббата Купе «Le bonheur des champs» («Сельское блаженство»; *Coupré J.-M. L. Les soirées littéraires, ou Mélanges de Traductions nouvelles des plus beaux morceaux de l' Antiquité. T. XIII. Paris, an VII (1799). P. 237–238*).

⁴⁸ То же самое можно сказать и об идиллии «Земля и море» и ее древнегреческом источнике, к которому до Пушкина обращались многие французские поэты. Б. В. Томашевский указал, что необычный для передачи античных гекзаметров метр стихотворения (четырёхстопный ямб), а также образ грозы, отсутствующий как в оригинале, так и у Кошанского, восходят к переложению идиллии Мосха, названному ее автором, французским поэтом Николя-Жерменом Леонаром, «Les plaisirs du rivage» («Радости [морского] берега». См.: *Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. С. 450*). Кроме того, у Пушкина звучат отголоски двух других французских переводов идиллии, барона де Лонжпьера (см.: *Longepierre H. B. de R.] Les idylles de Bion et de Moschus, Traduites de Grec en Vers François, Avec des Remarques. Paris, 1686. P. 167–168*) и Пуансине де Сиври (см.: *Anacréon, Sapho, Moschus, Bion et autres poètes Grecs, traduits en vers français par Poinsinet de Sivry / 5e éd., augmentée. Paris, An V (1797). P. 119–120*). В «Земле и море» можно усмотреть и полемический ответ на переложение хорошо известного Пушкину Экушара Лебрена (по мнению Б. В. Томашевского, «возвышенного галла» оды «Вольность»: см.: *Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. С. 315–359*), который украсил идиллию рядом дополнений, введя в нее любовную тему и несколько классических имен: Фетида, Цитера, Диана, Борей, Нерей, Кибела, отсутствующих в оригинале (*Œuvres de Ponce Denis (Écouchard) Le Brun... Mises en ordre et publiées par P. L. Ginguené. T. II. Paris, 1811. P. 96–97*). Пушкин, как и Лебрен, в нескольких местах расцвечивает простую схему идиллии, но у него это не ложноклассический орнаментализм, а реминисценции батюшковского

поэтов, в разное время перелагавших идиллию Биона, внимание Пушкина в первую очередь могли привлечь Ронсар (ода XX из четвертой книги «Од») и Пьер Франсуа Тиссо, любимый ученик и последователь Парни («L' amant à l' étoile du soir»). Конечно же, Пушкин помнил переложение Андре Шенье («Élégie IV, tirée d' une idylle de Moschus»), напечатанное в том самом сборнике стихотворений последнего, который он изучал еще в конце 1819 года в Петербурге, а потом в Гурзуфе⁴⁹. В каждом из этих переводов имеются отсутствующие в оригинале подробности, которые при желании нетрудно сблизить с РОЛГ. Так, Ронсар вводит в описание элемент приморского пейзажа – Вesper у него должен погрузиться в «морской исток» («la marine source»⁵⁰); Тиссо повторяет и варьирует обращения к «вечерней звезде» («Astre de soir, astre de Cythérée <...> Astre d' Amour») и дает возлюбленной лирического героя имя Адели («Adele ici m'attend avec l' Amour»⁵¹). Наконец, Шенье изменяет финал идиллии, завершая ее эффектным сравнением «обожасмой нимфы, прекрасной и среди красавиц» с «украшением ночи» – с «прекрасной звездой Венеры», люющей свой «чистый свет» среди «других светил, ведомых Дианой»:

J'aime: je vais trouver des ardeurs mutuelles,
Une nymphe adorée, et belle entre les belles,
Comme, parmi les feux que Diane conduit,
Brillent tes feux si purs, ornement de la nuit⁵².

Несмотря на все эти и некоторые другие новации, общий смысл идиллии во всех случаях остается неизменным: вечерняя звезда изображается как покровительница любящих, как предшественница и/или заместительница луны, временно выполняющая ее осветительные функции⁵³. Столь важные для РОЛГ элегические мотивы воспоминания, тоски по прошлому, где «все для сердца мило», не находят во французских поэтических переводах идиллии Биона никаких соответствий.

поэтического языка, придающие тексту характер элегии (см.: *Элиаш Н.* К вопросу о влиянии Батюшкова на Пушкина // Пушкин и его современники. Вып. XIX–XX. Пг., 1914. С. 32; *Зарецкий А. Р.* Об идиллии Пушкина «Земля и море» // Университетский Пушкинский сборник. М., 1999. С. 340–346; *Проскурин О. А.* Поэзия Пушкина, или подвижный палимпсест. М., 1999. С. 96). Любопытно, что почти одновременно с Пушкиным идиллию Мосха в сходном ключе транспонировали Шелли в Англии и Леопарди в Италии – свидетельство ее актуальности для нового романтического стиля.

⁴⁹ С. А. Кибальник по недоразумению счел это стихотворение Шенье обращением не к «прекрасной звезде Венеры» («bel aster de Vénus»), а к Диане, заметив при этом, что Пушкин в РОЛГ мог на него ориентироваться (*Кибальник С. А.* Русская антологическая поэзия первой трети XIX в. С. 178).

⁵⁰ *Ronsard P.* Œuvres complètes. P. 822–823.

⁵¹ *Tissot P. F.* Baisers et élégies de Jean Second, avec le texte latin, ... suivis de quelques baisers inédits. Paris, 1806. P. 167–168. Затем переложение Тиссо было напечатано по крайней мере дважды, в «Альманахе Муз» и в сборнике лучших стихотворений в жанре легкой поэзии 1800–1810 годов: *Almanach des Muses, ou Choix de poésies fugitives de 1807* (Vol. 44). Paris, 1808. P. 146; *Choix décennal de Poésies légères depuis l' an 1800.* Paris, 1810. P. 215.

⁵² Œuvres d' André de Chénier. Gand, 1819. P. 28. Сравнение Шенье можно считать глубоким подтекстом финала РОЛГ, где «дева юная» появляется среди подруг и имплицитно отождествляется с вечерней звездой. Его также следует учитывать как возможную параллель к известным стихам в «Евгении Онегине»: «У ночи много звезд прелестных, / Красавиц много на Москве. / Но ярче всех подруг небесных / Луна в воздушной синеве, – / Но та, которую не смею / Тревожить лирою моею, / Как величавая луна / Средь жен и дев блесит одна...» (анализ других параллелей см.: *Добродомов И. Г., Пильшиков И. А.* Лексика и фразеология «Евгения Онегина». Герменевтические очерки. М., 2008. С. 170–180).

⁵³ Ср. хрестоматийное для предромантической и романтической поэзии описание наступления ночи в четвертой книге «Потерянного рая» Мильтона: «...Now glow'd the firmament / With living sapphires: Hesperus, that led / The starry host, rode brightest, till the Moon, / Rising in clouded majesty, at length / Apparent queen, unweil' d her peerless light, / And o'er the dark her silver mantle grew» (ст. 604–609; букв. пер.: «...Вот засияла твердь / Живыми сапфирами: Геспер, который возглавил / Звездную рать, гарцевал всех ярче, пока луна, / Поднявшаяся во всем своем облачном величии, / Истинная королева, не сняла наконец покров со своего несравненного света / И не набросила на тьму серебристую мантию»). Пушкин должен был знать этот фрагмент по стихотворному переводу Жака Делиля (*Paradis perdu, traduit par Jacques Delille.* Т. 2. Paris, 1805. P. 50) и по «Гению Христианства» Шатобриана, где весь пассаж переведен прекрасной прозой (*Chateaubriand F.-A.-R.* Génie du Christianisme / Éd. établie par P. Reboul. T. I. Paris, 1966. P. 252).

Однако, как продемонстрировал американский исследователь Джеффри Хартман в превосходной статье «Вечерняя звезда и вечерняя земля» («Evening Star and Evening Land»), именно эти мотивы постепенно выходят на первый план в английской предромантической поэзии⁵⁴. Во Франции и в России, кажется, осталась незамеченной проанализированная Хартманом ода «Вечерней звезде» («To the Evening Star», 1744) английского поэта Марка Эйкенсайда, в которой лирический герой, оплакивающий умершую возлюбленную, обращается к Гесперу с просьбой послушать его печальную песнь и отвести к тем посеребренным ручьям и рощам, где когда-то они гуляли вместе с «прекрасной Олимпией» и где он теперь хочет внимать нежному голосу соловья и вспоминать былое⁵⁵. Зато другое обращение к вечерней звезде в том же меланхолическом ключе – начало поэмы Оссиана/Макферсона «Песни в Сельме» – пользовалось поистине всеевропейской известностью. По данным Ю. Д. Левина, к 1820 году в России было опубликовано семь полных переводов «Песен в Сельме» – три прозаических (Н. М. Карамзин, Е. И. Костров, В. Литвинов) и четыре поэтических (П. С. Политковский, Н. И. Гнедич, П. А. Катенин, Н. Ф. Грамматин)⁵⁶. Прочитавшее открывающее поэму обращение к вечерней звезде в переводе Ермила Кострова, поскольку знакомство Пушкина с его Оссианом не вызывает никаких сомнений⁵⁷:

Вечерняя звезда, любезная подруга ночи, возвышающая блистательное чело свое из облаков запада и шествующая величественными стопами по лазори небесной! что привлекает взор твой на долине? Бурные дня ветры молчат; шум источника удалился; усмиренные волны ласкаются у подножия скалы; <...> Лучезарная! что привлекает взор твой на долине? Но я вижу, ты с нежною усмешкою преклоняешься на края горизонта. Волны радостно стекаются вокруг тебя, и омывают твои блестящие власы. – Прости молчаливая звезда! пусть огонь моего духа сияет вместо лучей твоих. Я чувствую, он возрождается во всей своей силе, при его сиянии я вижу тени друзей моих...⁵⁸

Комментируя начало «Песен в Сельме», Хартман обратил внимание на то, что вечерняя звезда Оссиана быстро исчезает, уступая место не Луне, а свету «души Оссиановой» (англ. *the light of Ossian's soul*). «Этот свет, – пишет он, – память, матрица эпического искусства. Душу Оссиана воспламеняют воспоминания о мертвых друзьях, героях и бардах, которые прежде ежегодно собирались в Сельме. Вечерняя звезда приводит нас не к луне и ее яркой эпифании, но к памяти – к умирающим голосам из прошлого»⁵⁹. Если заменить эпическое искусство на элегическую поэзию, а воспоминания о мертвых друзьях – на воспоминания о потерянном крымском рае, населенном юными девами, то наблюдения Хартмана можно переадресовать РОЛГ. В сходных горно-морских декорациях (ср. словесные совпадения с переводом Кострова: вечерняя звезда, подруга, ночь, облака, небесная, долина, шум/шумят, волны, скалы, нежный, луч, тень) Пушкин разыгрывает элегическую вариацию на оссианову тему воспоминаний, разбуженных вечерней звездой. Они вызывают у лирического героя «сладкую меланхолию», составляющую, по Гердеру, «господствующий тон элегической поэзии»⁶⁰. Даже траурные

⁵⁴ См.: Hartman G. H. The Fate of Reading and Other Essays. Chicago and London, 1975. P. 147–178.

⁵⁵ Akenside M. The Poetical Works: in 2 vols. / Collated with the best editions by Th. Park, esq. F. S. A. London, 1805. Vol. 2. P. 38–41. Из всех произведений Эйкенсайда на французский и русский язык переводилась только его большая дескриптивная поэма «Об уладах воображения» (1744). См. о ней: Левин Ю. Д. Восприятие английской литературы в России. Л., 1990. С. 197, 204; Смолярова Т. Зримая лирика. Державин. М., 2011. С. 205–216.

⁵⁶ Левин Ю. Д. Оссиан в русской литературе. Л., 1980 (по указателям).

⁵⁷ См.: Там же. С. 96, 136 (примеч. 7).

⁵⁸ Оссиан, сын Фингалов, бард третьего века: гальские стихотворения. Переведены с французского Е. Костровым. Ч. 1. М., 1792. С. 281–282.

⁵⁹ Hartman G. H. The Fate of Reading and Other Essays. P. 165.

⁶⁰ Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. СПб., 1994. С. 59.

мотивы, играющие столь важную роль у Оссиана, исподволь прорываются в идиллический пейзаж, когда рядом с «нежным миртом», традиционным символом жизни, молодости и любви⁶¹, появляется «темный кипарис» – символ смерти и печали.

Согласно Хартману, два имени и два лика Венеры – вечерний (Геспер/Веспер) и утренний (Фосфор/Люцифер) – символизируют непрерывность, которая сохраняется в ситуации видимой потери⁶². В этой связи Хартман цитирует эпитафию, написанную Платоном своему любимцу по имени Астер, умершему в расцвете лет:

Прежде звездой рассветной светил ты, Астер мой, живущим,
Мертвым ты, мертвый теперь, светишь закатной звездой⁶³.

Платон обыгрывает буквальное значение имени юноши (др.-греч.: «звезда»), уподобляя его короткую, но яркую жизнь утренней звезде, а посмертную память о нем – звезде вечерней: Астер умирает, но его имя продолжает жить в веках, как бы воплотившись в свое означаемое. Эпитафия Астеру возвращает нас к посмертной судьбе Елены Прекрасной, которая после физической смерти также превращается в светило, причем Венера, наряду с луной или блуждающими звездами, входит в ряд ее возможных воплощений, мотивированных традицией. Еще в «Истории» Геродота (кн. II, 112) рассказывалось о храме в Мемфисе, посвященном «чужеземной Афродите», который на самом деле, как предполагает Геродот, являлся «храмом Елены, дочери Тиндарея»⁶⁴. Исследователи отмечают ряд примеров в поздней античности, когда Елена начинает ассоциироваться с Венерой, а ее звезде переадресовывается один из самых важных эпитетов богини любви: Урания («небесная»; в противоположность *Пандемос* – «земная»)⁶⁵. Эта традиция, похоже, дожила до Нового времени, о чем свидетельствует один из посмертных панегириков самой знаменитой Елене XVII–XVIII веков – итальянке Елене Корнаро, прославившейся своей ученостью (она знала много языков и была первой женщиной, получившей степень доктора наук), красотой и целомудрием (она дала обет безбрачия и отвергла самых завидных женихов). Интересующее нас место в старом французском переводе читается так:

On nous dit qu'Helene est l' étoile de Venus, qui brille dans les champs
empirées, et que n'ayant laissé sur la terre aucun héritier de ses vertus, elle va donner
au ciel de ses enfans, en épousant le soleil⁶⁶.

⁶¹ В античной и неоклассической традиции мирт – дерево, посвященное Афродите/Венере (См. подробнее: *L' abbé de la Chau. Dissertation sur les attributs de Venus. Paris, 1776. P. 80–82*). У Елены Троянской тоже было свое дерево: платан, о чем говорилось еще в XVIII идилии Феокрита «Эпиталямий Елены» (Феокрит. Моск. Бюб. Идиллии и эпиграммы. С. 86). Любопытно, что в своем переводе элегии Мильвуа «Бегство Елены» А. Ф. Раевский сделал ошибку, превратив древо Елены («l' arbre d' Hélène»), то есть платан, именно в «нежный мирт»: «Погибни, нежный мирт, Елене посвященный!» (Французская элегия XVIII–XIX вв. в переводах поэтов пушкинской поры: Сборник / Сост. В. Э. Вацура, комментарии В. Э. Вацура и В. А. Мильчиной. М., 1989. С. 273; первая публикация перевода: Вестник Европы. 1821. Ч. 121. № 24. С. 293–296).

⁶² *Hartman G. H. The Fate of Reading and Other Essays. P. 150–151.*

⁶³ Греческая эпиграмма. М., 1960. С. 56 (пер. Л. Блуменау). Пушкин мог знать эту эпитафию по какому-то французскому переводу. Ср., например: «Aster, étoile du matin, autrefois tu brillois ici-bas; à present, étoile du soir, tu reluis dans les champs Elisées» (Les vies des plus illustres philosophes de l' antiquité ... traduites du Grec de Diogène Laerce. Amsterdam, 1761. P. 205). «Comme un astre du soir tu vas briller encore / Bel Aster; mais hélas! Ce ciel n'a plus d' aurore» (Pensées de Platon sur la religion, la morale, la politique, recueillies et traduites par M. Jos.-Viet. Le Clerk. Paris, 1819. P. XVII).

⁶⁴ Геродот. История в девяти книгах. Л., 1972. С. 113. Ср. французский перевод XVIII века: *Histoire d' Hérodote, traduite du Grec ... par M. [P. H.] Larcher. T. II. Paris, 1786. P. 87*. Переводчик Геродота Пьер Анри Ларше обсуждал это странное, на его взгляд, отождествление Венеры и Елены Троянской в своем «Трактате о Венере», объясняя его недостатком деликатности у древних (*Memoire sur Venus ... par M. [P. H.] Larcher. Paris, 1775. P. 35–36*).

⁶⁵ *Usener H. Kleine Schriften. Band 4. Leipzig; Berlin, 1913. S. 70; Cook A. B. Zeus God of the Bright Sky. Vol. I. P. 773; Chapouthier F. Les Dioscures au service d' une Déesse. P. 141, 145–146; Lindsay J. Helen of Troy. Woman and Goddess. P. 211.*

⁶⁶ *Bibliothèque universelle et Historique [de l' année 1687]. T. 6. Amsterdam, 1687. P. 235*. Тот же перевод был напечатан во втором издании «Библиотеки» (Т. 5. Amsterdam, 1705. P. 203–204), а также в книге: [*Sanseverino G. R. di*] *Les vies des hommes et des femmes illustres d' Italie, depuis le Rétablissement des Sciences et des beaux Arts. T. II. Paris, 1767. P. 108* (второе

[Пер.: Говорят, что Елена – это звезда Венеры, которая сияет в эмпиреях, и что, не оставив на земле наследника своим добродетелям, она подарит детей небу, обвенчавшись с солнцем.]

Поскольку со звездой Венеры здесь отождествляется девственница, образец христианских добродетелей, ясно, что речь идет именно о небесной, возвышенной, неплотской Венере – Урании. Подобно Платону в эпитафии Астеру, автор отталкивается от значения имени Елена, которое обычно связывали с идеей света, возводили к греческому существительному, означавшему факел, светоч, и считали женским родом от слова *гелиос*, то есть «солнце»⁶⁷. В этом смысле любая Елена имеет право называть своим именем любое небесное светило, включая, конечно, и вечернюю звезду. Даже если Елена Раевская ничего не знала об отождествлениях Афродиты/Венеры с Еленой Троянской, не слышала о Елене Корнаро, не изучала античных авторов, писавших о звезде Елены, не читала ни Еврипида, ни «Сонеты к Елене» Ронсара, ни справочники по астрономике и мифологии, сама семантика ее имени, вкупе с его сильными античными коннотациями, давала ей – единственной из четырех сестер – достаточные основания для того, чтобы считать Венеру (или какую-нибудь иную яркую звезду на Таврическом вечернем небосклоне⁶⁸) своей соименницей.

Все вышеизложенное позволяет предположить, что «девой юной» РОЛГ, как и адресатом элегии «Увы! зачем она блистает...», была Елена Раевская. Это отнюдь не значит, что мы предлагаем новую (или, вернее, самую старую) кандидатуру на вакансию «утаенной любви» Пушкина. Скорее всего, прав Ю. М. Лотман, считавший, что никакой «утаенной любви» вообще не было, а была литературная игра в нее, призванная заставить читателя поверить в биографическую легенду о безнадежной любви автора к прекрасной, но неприступной деве⁶⁹. Другое дело, что для этой игры Пушкину требовались реперные точки в реальной жизни, по которым читатель мог бы строить догадки о связях событий поэтического текста с событиями биографии поэта. Как он напишет в «Путешествии Онегина», в начале 1820-х годов ему

...казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И безыменные страданья...

[VI: 200]

Иными словами, молодому Пушкину требовалась именно элегическая или поэтическая красавица, то есть такой женский образ, который был бы связан с крымским антиклизированным локусом и вписывался в жанрово-тематическую матрицу. Елена Раевская – «чахоточная дева», чья недолговечная, минутная красота словно бы реализовала один из главных топосов

исправленное издание: Yverdon, 1768; немецкий перевод: 1769).

⁶⁷ Gébelin A. C. de. *Monde primitif, analysé et comparé avec le monde moderne, considéré dans l'histoire naturelle de la parole* / Nouvelle éd. T. IV. P. 489.

⁶⁸ По подсчетам петербургского астронома-любителя Н. Н. Кузнецова, Пушкин не мог наблюдать Венеру на крымском вечернем небе в 1820 году, так как тогда она была видима только как утренняя звезда. Скорее всего, он, его «элегическая красавица» и/или какие-то еще наблюдатели звездного неба приняли за Венеру одну из двух других планет – либо Юпитер, либо Сатурн (Кузнецов Н. Н. «Вечерняя звезда» в одном стихотворении Пушкина // *Мироведение*. 1923. № 1 (44). С. 88–89). В поэтическом мире, однако, законы природы не имеют силы и движение звезд и планет подчиняется воле поэта, обычно мало сведущего в астрономии. Только крайне наивные исследователи могут утверждать, что «мы можем вполне доверять его [Пушкина] поэтическим утверждениям: если видел Венеру, значит, это было на самом деле» ([Строганов М. Б.] Венера // Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Материалы к энциклопедии в двух частях. Ч. 1: А–К. Тверь, 2002. С. 58).

⁶⁹ Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: Комментарий. С. 68–71. См. также важные соображения О. А. Проскурина в его комментарии к «Бахчисарайскому фонтану» (Пушкин. Сочинения. Вып. 1. С. 282–283).

«унылой элегии», любительница Байрона, которой, как можно предположить, была не чужда романтическая мечтательность, – подходила для этой роли значительно лучше, чем ее сестры: еще «гадкий утенок» Мария и уже вполне сформировавшаяся, властная, решительная Екатерина, которую Пушкин потом сравнит с Мариной Мнишек.

Пытаясь объяснить, почему Пушкин изначально запретил Бестужеву печатать последние три стиха РОЛГ, Ю. М. Лотман писал:

Этим он, прежде всего, привлекал к ним внимание, давая понять, что они содержат важную для автора тайну (что из самого текста как такового совсем не очевидно). Если считать, что цель Пушкина состояла в сохранении тайны, а не в создании вокруг элегии атмосферы таинственности, то почему автор предлагал не печатать последние три стиха, а не два (стиху «Когда на хижину сходилась ночи тень» легко можно было в печатном варианте придать синтаксическую законченность)? Если бы Бестужев исполнил требования Пушкина, то стихотворение получило бы в печати вид незаконченного отрывка, интригуяще обрывающегося таким образом, что последний стих лишен рифмующейся с ним пары. В сочетании с устным известием о том, что конец не мог быть опубликован из-за его интимности (а это обстоятельство стало бы достоянием определенного круга читателей), такая публикация окружила бы элегию тайной и тесно бы связала ее с биографической легендой⁷⁰.

Объяснение Лотмана представляется абсолютно убедительным, но оно не исключает и существования каких-то личных причин биографического плана. Судя по тому, что позднее, в собраниях стихотворений 1826 и 1829 годов, когда крымский эпизод уже потерял актуальность для биографической легенды, а публикация в «Полярной звезде» забылась, Пушкин печатал РОЛГ без последних трех стихов, даже не обозначив пропуск точками, у него, вероятно, были какие-то обязательства перед «элегической красавицей». В черновике письма к Бестужеву от 12 января 1824 года есть упоминание о том, что та женщина, к которой относится РОЛГ, первой прочла элегию [XIII: 386] и, как можно понять, не разрешила Пушкину предавать гласности стихи об имени звезды. Не исключено, что по тем же соображениям Пушкин заменил эпитет «Таврические» перед «волны» в 11-м стихе на «полуденные» [см.: II: 637], а затем отказался от заглавия «Таврическая звезда», явно избегая прямой локализации и вместе с нею того, что П. В. Анненков назвал в примечании к РОЛГ «неосновательными применениями»⁷¹. Здесь, вероятно, уместно вспомнить о том, какие строгие нравы царили в семье Раевских по части охраны девичьей чести. Уже в 1860-е годы Екатерина Николаевна, как сообщил Я. К. Грот, решительно отвергла «недавно напечатанное сведение, будто Пушкин учился там <в Гурзуфе – А. Д.> под ее руководством английскому языку. Ей было в то время 23 года, а Пушкину 21, и один этот возраст, по тогдашним строгим понятиям о приличии, мог служить достаточным препятствием такому сближению. По ее замечанию, все дело могло состоять разве только в том, что Пушкин с помощью Н. Н. Раевского в Юрзуфе читал Байрона, и что, когда они не понимали какого-нибудь слова, то, не имея лексикона, посылали наверх к Катерине Николаевне за справкой»⁷². Воспитанная в подобных правилах, которые, как следует из слов Екатерины Николаевны, запрещали общение с молодыми людьми без родительского надзора, «элегическая красавица», вероятно, могла полагать, что пушкинские поэтические воспоминания о вечерних прогулках у моря и подслушанных девичьих разговорах, не предназначавшихся для

⁷⁰ Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: Комментарий. С. 69.

⁷¹ Сочинения Пушкина: В 7 т. СПб.: П. В. Анненкова, 1855. Т. 2. С. 277.

⁷² Воспоминания Е. Н. Раевской в записи Я. К. Грота // Пушкин в воспоминаниях современников / 3-е изд., доп. Т. 1. СПб., 1998. С. 211.

чужих ушей, способны ее скомпрометировать. Что же касается обрыва текста на слове «лень», оставшемся без рифмы, то нам стоит обратить внимание на его звуковой состав: ведь оно пере-кликается с неназванным именем героини элегии – Елены⁷³.

⁷³ Тем же словом заканчивается и неотделанная крымская элегия «Кто видел край, где роскошью природы...» (1821): «Приду ли вновь под сладостные тени / Душой уснуть на лоне мирной лени?» [П: 191]. Повторение консонантной основы имени Елена/Hélène, звуков «л – н», и гласной «е» в последнем стихе: «на лоне <...> лени» позволяет подозревать явление, сходное с тем, которое В. Н. Топоров описал для скрытого имени Марии Лазич в лирике Фета: «не столько анаграмму имени, сколько отсылку к некоему его соответствию, его знаку, звуковой теме, и все ради того, чтобы через имя сберечь и милый образ» (Топоров В. Н. К исследованию анаграмматических структур (анализы). П. «Скрытое» имя в русской поэзии // Исследования по структуре текста. М., 1987. С. 220). Элегическая героиня в «Кто видел край...» получает условное литературное имя Эльвина, введенное в русскую поэзию балладой Жуковского «Эльвина и Эдвин» (1815). Оно, как легко заметить, созвучно и равносложно имени Елена, причем его звуковая фактура подчеркивается аллитерациями и ассонансами в соседних словах: «Златой предел! Любимый край Эльвины, / Туда летят желания мои!» [П: 190].

«ШОТЛАНДСКАЯ СТРОФА» У ПУШКИНА (К ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СТИХОТВОРЕНИЯ «ОБВАЛ»)

ОБВАЛ

Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы,
И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы
Вершины гор.

Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил,
И Терека могущий вал
Остановил.

Вдруг, истощась и присмирив,
О Терек, ты прервал свой рев;
Но задних волн упорный гнев
 Прошиб снега...
Ты затопил, освирепев,
 Свои берега.

И долго прорванный обвал
Неталой грудю лежал,
И Терек злой под ним бежал,
И пылью вод
И шумной пеной орошал
Ледяный свод.

И путь по нем широкий шел:
И конь скакал, и влекся вол,
И своего верблюда вёл
 Степной купец,
Где ныне мчится лишь Эол,
 Небес жилец.

[III: 197–198]

Необычная для русской поэзии ямбическая строфа, которой написаны два стихотворения Пушкина, «Обвал» (1829?) и «Эхо» (1831), давно обратила на себя внимание исследователей. В классической работе «Строфика Пушкина» Б. В. Томашевский описывает ее сле-

дующим образом: «...по числу стоп 444242 на одних мужских рифмах, все четырехстопные стихи оканчиваются на одну рифму, а двустопные на другую, так что формула рифм такова: aaabab». «Данная строфа, – уточняет он, – английского происхождения»⁷⁴, с чем нельзя не согласиться. Именно в английской поэзии она получила широкое распространение и даже имеет особое название: «шотландская» (*Scottish stanza*) или «бернсовская» (*Burns stanza*), данное ей потому, что ее канонизировали шотландские поэты второй половины XVIII века и, больше других, Роберт Бернс, который написал ею около пятидесяти стихотворений⁷⁵. В примечаниях к «Обвалу» в «венгерском» собрании сочинений Пушкина П. О. Морозов указал на догадку А. В. Дружинина, еще в 1855 году предположившего, что форма стихотворения заимствована прямо у Бернса, которым Пушкин, по его наивному убеждению, не мог не восхищаться. «Нам всегда казалось, – писал Дружинин, – что конструкция строф в „Обвале“ (чисто бернсовская) не есть случайность»⁷⁶. Однако впоследствии предположение Дружинина было отвергнуто пушкинистами – и не только потому, что никаких свидетельств интереса Пушкина к Бернсу не существует. Решающую роль здесь сыграло открытие Н. В. Яковлева, который установил бесспорный источник для «Эха» – написанное «шотландской строфой» стихотворение Барри Корнуола «Прибрежное эхо» («A Sea-Shore Echo»). С этим же стихотворением Яковлев связал и творческую историю «Обвала», которая в его реконструкции складывалась в такой последовательности. По возвращении с Кавказа, осенью 1829 года Пушкин знакомится с сочинениями Барри Корнуола по вышедшей тогда книге четырех английских поэтов (*The Poetical Works of Milman, Bowles, Wilson and Barry Cornwall: Complete in One Volume. Paris, 1829*), которая потом была у него в Болдине. «В поисках форм, наиболее отвечавших его цели – выразить возможно полнее свои недавние кавказские впечатления, – Пушкин наткнулся <...> на готовый размер „Прибрежного Эхо“ Корнуола, – размер, как нельзя более гармонизировавший свою отрывистой и сжатою силой с дикостью горного пейзажа»⁷⁷. Таким образом, чтение «Прибрежного эха», по Яковлеву, дает толчок замыслу «Обвала»: Пушкин перенимает у полюбившегося ему английского поэта необычную стиховую форму, подобно тому, как год спустя он переймет у него форму «драматических сцен».

Гипотеза Яковлева была безоговорочно принята Б. В. Томашевским⁷⁸, Л. С. Сидяковым,⁷⁹ а затем и В. Д. Раком, который воспользовался ею как главным аргументом для решения сложного вопроса о датировке «Обвала». Хотя Пушкин в третьей части «Стихотворений» (1832) отнес «Обвал» вместе с другими кавказскими стихами к 1829 году, а в дальнейшем планировал включить его в цикл, названный «Стихи, сочиненные во время путешествия (1829)», истинная датировка всех стихотворений этой группы, как писал Н. В. Измайлов, «очень неясна и приблизительна»⁸⁰. Мы не можем с точностью сказать, были ли они сочинены, хотя бы вчерне, во время поездки на Кавказ (май – август 1829 года), или на обратном пути, во время пребывания на Кавказских водах (август – 8 сентября 1829 года), как полагал Измайлов,

⁷⁴ Томашевский Б. В. Строфика Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. Т. II. М.; Л., 1958. С. 82.

⁷⁵ Об истории и структуре строфы см. подробнее: *Schipper J. Neuenglische Metrik in historischer und systematischer Entwicklung dargestellt. Zweiter Hälfte: Strophenbau. Bonn, 1888. S. 586–587; Saintsbury G. Historical Manual of English Prosody. London, 1914. P. 273–274; Fussell P. Poetic Meter and Poetic Form. N. Y., 1965. P. 152–155 и др.*

⁷⁶ Дружинин А. В. А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений // Библиотека для чтения. 1855. Т. CXXX. Отд. 3. С. 74. Цит. по: Морозов П. Примечания // Пушкин. [Сочинения]: В 6 т. СПб., 1911. Т. V. С. XXXVII (Библиотека великих писателей под ред. С. А. Венгера).

⁷⁷ Яковлев Н. В. Последний литературный собеседник Пушкина (Бари Корнуоль) // Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Вып. XXVIII. Пг., 1917. С. 27.

⁷⁸ См.: Томашевский Б. В. Строфика Пушкина. С. 82.

⁷⁹ См. его примечания к «Обвалу» в кн.: Стихотворения Александра Пушкина / Изд. подгот. Л. С. Сидяков. СПб., 1997. С. 567 (Литературные памятники).

⁸⁰ Измайлов Н. В. Лирические циклы в поэзии Пушкина конца 20–30-х годов // Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1976. С. 221 (примеч. 11).

или осенью, когда Пушкин останавливался в Москве и Тверской губернии, или зимой 1829–1830 года в Петербурге, или даже в последующие месяцы. По резонному замечанию Измайлова, «вопрос осложняется и тем, что <...> бо́льшая часть кавказских стихотворений обрабатывалась Пушкиным в Болдинскую осень 1830 года»⁸¹. Так, пушкинские пометы «29 Окт<яб-ря>» и «30» на автографе «Обвала» (ПД 115) принято относить не к 1829-му, а к 1830 году, хотя никаких аргументов в пользу именно такой датировки до работы В. Д. Рака не предлагалось⁸².

Приняв гипотезу Яковлева о происхождении строфы «Обвала» за «данность», В. Д. Рак установил, что парижская книга четырех поэтов вышла в свет лишь в октябре 1829 года и, следовательно, могла оказаться на прилавках книжных лавок Петербурга и Москвы «в лучшем случае вряд ли ранее декабря, а реальнее – значительно позже»⁸³. Если же Пушкин приобрел книгу, в которой прочитал «Прибрежное эхо» Корнуола, только в 1830 году, то и датировку «Обвала», полагает В. Д. Рак, следует сдвинуть с 1829-го на 1830 год.

Между тем сама гипотеза Яковлева, на наш взгляд, далеко не столь убедительна, как принято считать. Во-первых, в поэтической практике Пушкина, кажется, нельзя найти другого случая, когда одно и то же стихотворение иностранного автора использовалось бы им дважды – сначала исключительно как метрическая модель, а затем, после более чем годичного перерыва, как источник и метра, и темы. Во-вторых, в вероятный круг пушкинского чтения 1828–1830 годов входил целый ряд английских текстов, в которых Пушкин мог встретить «шотландскую строфу» еще до знакомства с «Прибрежным эхом». Прежде всего следует обратить внимание на важный историко-литературный факт: в мае 1829 года в Петербурге вышла в свет тридцатисемистраничная книжечка «Сельский субботний вечер в Шотландии. Вольное подражание Р. Борнсу И. Козлова», где кроме заглавной поэмы (в оригинале «The Cotter's Saturday Night») было напечатано и стихотворение «К полевой маргаритке, которую Роберт Борнс, обрабатывая свое поле, нечаянно срезал железом сохи в апреле 1786 года» – перевод знаменитого бернсовского «To a Mountain Daisy, on Turning One down with the Plough in April 1786», написанного «шотландской строфой» (см. приложение)⁸⁴.

Первые русские переводы из Бернса привлекли внимание газетной и журнальной критики⁸⁵. В июльском номере «Московского телеграфа» была напечатана пространная рецензия на книжку И. И. Козлова, автор которой (вероятно, сам редактор журнала Н. А. Полевой) выказал неплохое знание биографии и творчества шотландского поэта – по его словам, «одного из тех феноменов, которых явление можно уподобить молнии на вершинах пустынных гор». Критикуя переложение «Субботнего вечера», в котором И. Козлову, по его оценке, не удалось передать характер «пламенного певца Шотландии, сгоревшего в огне страстей», рецензент с похвалой отзываясь о «Полевой маргаритке». «Это прелестное стихотворение более сохранило в Русском переводе свою первобытную свежесть и красоту, – пишет он. – В нем Борнс виднее и понятнее для Русского читателя, чем в переводе предыдущей пьесы»⁸⁶.

Вполне вероятно, что Пушкин не пропустил интересную новинку и захотел сравнить перевод И. Козлова с оригиналом. Это могло произойти как осенью 1829 года на обратном

⁸¹ Там же.

⁸² См.: Модзалевский Л. Б., Томашевский Б. В. Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме. Научное описание. М.: Л., 1937. С. 48.

⁸³ Рак В. Д. К датировке стихотворения «Обвал» // Рак В. Д. Пушкин, Достоевский и другие. СПб., 2003. С. 320.

⁸⁴ Анализируя строфу «Обвала» и «Эхо», Б. В. Томашевский в качестве английской параллели к ней приводит именно «To a Mountain Daisy...» Бернса и попутно разбирает перевод И. И. Козлова, который он ошибочно датирует 1833-м годом (Томашевский Б. В. Строфика Пушкина. С. 82).

⁸⁵ Подробнее см.: Левин Ю. Д. [1] Бернс на русском языке // Бернс Р. Стихотворения. На англ. и русск. яз. М., 1982. С. 538; [2] Восприятие английской литературы в России. Л., 1990. С. 234–235.

⁸⁶ Н. Н. О жизни и сочинениях Р. Борнса // Московский телеграф. 1829. Ч. 28. № 14. С. 195, 206, 209.

пути с Кавказа – скорее всего, в Москве, где он, по всей видимости, читал летние номера московских журналов и часто встречался с П. А. Вяземским, который внимательно следил за творчеством И. Козлова и только что написал предисловие к его переводам из Мицкевича⁸⁷, – так и в Петербурге, куда Пушкин вернулся 9–10 ноября. Любопытно, что принадлежавший Пушкину двухтомный сборник Бернса разрезан только до тех страниц первого тома, на которых напечатано «To a Mountain Daisy, on Turning One down with the Plough in April 1786», как если бы он искал в книге именно переведенное И. Козловым стихотворение⁸⁸. При этом стоит подчеркнуть простую истину: для усвоения «шотландской строфы» Пушкину не нужно было ни знать и любить Бернса, ни понимать шотландский диалект, на котором написаны его стихи, ибо отвлечение от смысла не затрудняет, а, наоборот, облегчает восприятие твердых стиховых форм.

При сопоставлении перевода и оригинала Пушкин должен был заметить, что И. Козлов несколько упростил «шотландскую строфу». Сохранив схему Я444242 со сплошными мужскими окончаниями, он не сумел соблюсти единство рифмы во всех четырехстопных стихах и зарифмовал их попарно, по формуле aabcbcb⁸⁹. В «Обвале» Пушкин виртуозно решает ту сложную техническую задачу, с которой не справился И. Козлов, демонстрируя, что «шотландская строфа» может быть воспроизведена на русском языке со всеми своими особенностями. При этом изощренная звукопись стихотворения, в котором семь раз повторяется сочетание звуков «вал», заданное заглавным существительным и его английским и французским эквивалентом *avalanche*⁹⁰ (валы—волнистой—сорвался—обвал—вал—прервал—обвал), и изобилуют одно-

⁸⁷ Книга «Крымские сонеты Адама Мицкевича. Переводы и подражания Ивана Козлова» (СПб., 1829) вышла в свет в октябре 1829 года. В «предисловной статье» Вяземского, помимо разбора сонетов и их переводов, упоминался Пушкин (см. примеч. И. Д. Гликмана к кн.: *Козлов И. И.* Полное собрание стихотворений. Л., 1960. С. 459–460 (Библиотека поэта; Большая серия)).

⁸⁸ The Poetical Works of Robert Burns. Chiswick, 1829 (*Библиотека Пушкина*. С. 180. № 691). На предшествующих страницах напечатано еще 11 стихотворений, написанных «шотландской строфой», а также переложенная И. Козловым поэма «The Cotter's Saturday Night». Подражая В. Д. Раку, я попытался установить, когда данный двухтомник Бернса мог попасть в Россию, и выяснил, что он был выпущен еще в 1821 году, в составе популярной серии малоформатных (14 см) книг «Whittingham's Cabinet Library», где имел номера 32–33. Как явствует из объявлений в английских газетах (см., например: The Morning Chronicle. 1822. 20 november; 1824. 27 may; 28 june) все книги, входившие в эту серию, постоянно допечатывались и продавались на протяжении многих лет. В ряде случаев, однако, печатники изменяли оформление титульного листа (например, добавляли гравюру или виньетку), заходя ставя на нем тот год, начиная с которого книга поступала в продажу в обновленном виде. Именно это и произошло с собранием стихотворений Бернса, для которого был изготовлен новый титульный лист с гравюрой Джона Томпсона, помеченный 1829-м годом (см.: Warren A. The Charles Whittingham Printers. New York, 1896. P. 79). Можно предположить поэтому, что двухтомник продавался в Англии с самого начала 1829 года и к ноябрю – декабрю должен был поступить в петербургские и московские книжные лавки.

⁸⁹ Той же строфой Козлов написал и стихотворение «Тоска по родине. Вольное подражание Шатобриану» (см.: *Козлов И. И.* Полное собрание стихотворений. С. 213–214). В XIX веке все русские переводчики Бернса использовали эту упрощенную форму «шотландской строфы».

⁹⁰ В рукописи ПД 115 «avalanche» написано в скобках после заглавия [III: 792]. Отсутствие артикля показывает, что это не перевод заглавного слова на французский язык (иначе Пушкин должен был бы написать «L' avalanche»), а помета иного рода, относящаяся скорее к языку английскому. Возможно, Пушкин не только сопоставлял два слова со сходным звучанием и одинаковым значением, но и вспоминал какие-то описания горных обвалов в английской литературе. В первую очередь он мог иметь в виду Байрона, у которого в швейцарском дневнике есть запись от 23 сентября 1816 года, опубликованная впервые в 1822 году: «Heard an Avalanche fall like thunder» ([Watkins J.] *Memoirs of the Life and Writings of the Right Honourable Lord Byron, with anecdotes of some of his contemporaries*. London, 1822. P. 271). К 1829 году Пушкин мог знать ее по нескольким источникам, и в том числе по книге Луизы Беллок «Лорд Байрон», где она приводится как в оригинале, так и во французском переводе: «Entendu une avalanche tomber comme la foudre» (*Belloc L. S.* Lord Byron. T. 1. Paris, 1824. P. 349). Сравнение альпийского обвала с громом Байрон повторил и в строфе LXII третьей песни «Странствий Чайльд-Гарольда»: «...Above me are the Alps, / The Palaces of Nature, whose vast walls / Have pinnacled in clouds their snowy scalps, / And throned Eternity in icy halls / Of cold sublimity, where forms and falls / The avalanche – the thunderbolt of snow» (*Byron G. G.* Selected Poems / Ed. with a Preface by S. J. Wolfson and P. J. Manning. London, 1996. P. 436). В первом действии «Манфреда» герою является дух Монблана, которому подвластны лавины и ледники: «Mont Blanc is the monarch of mountains; <...> / The Avalanche in his hand; / But ere it fall, that thundering ball / Must pause for my command» (*Ibid.* P. 465). Еще раньше, в «Осаде Коринфа», Байрон использовал образ горной лавины в сравнительном обороте: «Like the avalanche's snow / On the Alpine vales below» (*Ibid.* P. 381), с той же игрой на *val*, что и в «Обвале». Упоминания об альпийских обвалах Пушкин мог заметить и у английских поэтов «озерной школы» – в частности, в «Отрывочных строфах» («Desultory Stanzas», 1822) Вордсворта, где лирический герой, как в «Кавказе» Пушкина,

сложные знаменательные слова (бор, мглы, гор, скал, вал, рев, волн, гнев, злой, вод, свод, путь, шел, конь, вол, вел), как бы имитирует состав английской поэтической речи⁹¹. Если вспомнить, что Пушкин обычно обращался к чужим стиховым формам (белый ямб, терцина, сонет, октава, «испанский» хорей) только после того, как их уже начали осваивать другие русские поэты, то можно заподозрить, что одной из причин его обращения к «шотландской строфе» было желание вступить в соревнование с И. Козловым.

Впрочем, «шотландская строфа», вероятно, была знакома Пушкину еще до выхода книжечки переводов из Бернса. Например, перелистывая любимые романы Вальтера Скотта по-английски, он мог заметить ее в нескольких эпиграфах, взятых опять-таки из Бернса, – например, к «Повестям моего домохозяина» («*Tales of My Landlord*», 1816–1832) или к главе IX «Гая Мэннеринга» («*Guy Mannering*», 1815), а также в авторских предисловиях к «Монастырю» (где снова цитируется Бернс) и к третьему изданию «Уэверли» («*Waverley*», 1814) (где приведен текст анонимного шотландского стихотворения «*The Author's Address to All in General*»). Сам «шотландский чародей» написал «шотландской строфой» вставную песню менестреля в поэме «Рокби», которую Пушкин наверняка знал⁹²:

THE HARP

I was a wild and wayward boy,
My childhood scorned each childish toy;
Retired from all, reserved and coy,
 To musing prone,
I wooed my solitary joy,
 My Harp alone.

My youth with bold ambition's mood
Despised the humble stream and wood
Where my poor father's cottage stood,
 To fame unknown; —
What should my soaring views make good?
 My Harp alone!

Love came with all his frantic fire,
And wild romance of vain desire:

взирает на горный пейзаж с вершины горы и вдруг слышит «ужасный звук» падающей лавины («But list! the avalanche – the hush profound / That follows – yet more awful than that awful sound», см.: *The Poetical Works of William Wordsworth: In 5 vol. London, 1827. Vol. III. P. 302*). Некоторые параллели к пушкинским кавказским пейзажам обнаруживаются также в стихотворении Кольриджа «Гимн перед рассветом в долине Шамони» («*Hymn before Sunrise, in the Vale of Chamouni*», 1802). Кольридж сначала описывает ледяные лавины, скатывающиеся с горных вершин в огромные ущелья и останавливающие быстрые реки («Ye Ice-falls! ye that from the mountain's brow / Adown enormous ravines slope amain – / Torrents, methinks, that heard a mighty voice, / And stopped at once amid their maddest plunge! / Motionless torrents! silent cataracts!»), а затем обращается к «седой горе», с чьих «ног» часто низвергаются беззвучные обвалы: «Thou too, hoar Mount! with thy sky-pointing peaks, / Oft from whose feet the avalanche, unheard, / Shoots downward, glittering through the pure serene...» (*The Poetical Works of Coleridge, Shelley, and Keats. Paris, 1829. P. 36–37; Библиотека Пушкина. С. 198. № 762*).

⁹¹ Как заметил М. О. Гершензон в статье «Плагаты Пушкина» (см.: *Гершензон М. О. Статьи о Пушкине. М., 1926. С. 118*), начальные образы и рифма были подсказаны Пушкину переводом оды Горация «К Леоконое» В. С. Филимонова (1821). Ср.: «И разъяренные валы, / Кипящи пеною седой / Дробит о грозные скалы» (цит. по: *Филимонов В. С. «Я не в Аркадии – в Москве рожден...»: Поэмы. Стихотворения. Басни. Переводы. Материалы к биографии. М., 1988. С. 308*).

⁹² Отдельное издание поэмы сохранилось в его библиотеке: *Scott W. Rokeby: A Poem / The 6th ed. Edinburgh, 1815 (Библиотека Пушкина. С. 333. № 1365)*.

The baron's daughter heard my lire
And praised the tone; —
What could presumptuous hope inspire?
My Harp alone!

At manhood's touch the bubble burst,
And manhood's pride the vision curst,
And all that had my folly nursed
Love's sway to own;
Yet spared the spell that lulled me first,
My Harp alone!

Woe came with war, want with woe,
And it was mine to undergo
Each outrage of the rebel foe: —
Can aught atone
My fields lay waste, my cot laid low?
My Harp alone!
Ambition's dreams I've seen depart,

Have rued of penury the smart,
Have felt of love the venom'd dart,
When hope has flown;
Yet rests one solace to my heart, —
My Harp alone!

Then over mountain, moor and hill,
My faithful Harp, I'll bear thee still;
And when this life of want and ill
Is wellnigh gone,
Thy strings mine elegy shall thrill,
My Harp alone!⁹³

Наконец, у Вордсворта (которого Пушкин, по воспоминаниям С. П. Шевырева, читал тогда по-английски⁹⁴) «шотландская строфа» появляется в связи с Робертом Бернсом – в моралистическом послании к сыновьям последнего «To the Sons of Burns, after Visiting the Grave of Their Father», входившем в цикл «Стихи, сочиненные во время путешествия по Шотландии» («Poems written during a Tour in Scotland»⁹⁵). Приведем его в ранней, короткой редакции 1807 года:

Through twilight shades of good and ill
Ye now are panting up life's hill,

⁹³ Цит. по: The Complete Poetical Works of Sir Walter Scott. Cambridge Edition. Boston & New York, 1900. P. 267–268.

⁹⁴ Шевырев С. П. Рассказы о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современников / 3-е изд. Т. 2. СПб., 1998. С. 46.

⁹⁵ Ср. заглавие «кавказского цикла», которое Пушкин дал ему при подготовке неосуществленного собрания стихотворений в конце 1836 года: «Стихи, сочиненные во время путешествия (1829)». См. об этом: Измайлов Н. В. Лирические циклы в поэзии Пушкина конца 20–30-х годов. С. 222–223; Ларионова Е. О. Неосуществленное собрание стихотворений Пушкина 1836 года // Пушкинская конференция в Стэнфорде. 1999. Материалы и исследования / Под ред. Д. М. Бетеа, А. Л. Осповата, Н. Г. Охотина, Л. С. Флейшмана. М., 2001. С. 281–282.

And more than common strength and skill
Must ye display;
If ye would give the better will
Its lawful sway.

Hath Nature strung your nerves to bear
Intemperance with less harm, beware!
But if the Poet's wit ye share,
Like him can speed
The social hour – of tenfold care
There will be need.

For honest men delight will take
To spare your failings for his sake,
Will flatter you, – and fool and rake
Your steps pursue;
And of your Father's name will make
A snare for you.

Let no mean hope your souls enslave;
Be independent, generous, brave;
Your Father such example gave,
And such revere;
But be admonished by his grave,
And think, and fear!⁹⁶

Если «шотландская строфа», как мы предполагаем, пришла к Пушкину не через Барри Корнуола, а через Бернса, Вальтера Скотта или Вордсворта, то он не мог не почувствовать ее «местный колорит», ее связь с тем легендарным миром шотландских гор, который был ему знаком по вальтер-скоттовским романам. Этим, вероятно, и объясняется тот факт, что Пушкин опробовал новую для русской поэзии форму в стихотворении на кавказские темы. Ведь русским романтическим сознанием Кавказ воспринимался как отечественный аналог горной Шотландии, воспетой поэтами Highland – экзотической страны суровой, величественной природы, свободолюбивых непокорных племен и, главное, красочных преданий, легенд, мифов. Собственно говоря, эффектная картина горного обвала изображена у Пушкина в легендарном плане, с противопоставлением непосредственно воспринимаемого настоящего воображаемому прошлому. Поэт сквозь «волнистую мглу» смотрит на *обычное* течение Терека и представляет себе когда-то случившуюся здесь *уникальную* («оттоль сорвался *раз* обвал»), грандиозную катастрофу – лавину, которая не оставила после себя никаких материальных следов, но память о которой сохранилась в местных преданиях. Речь здесь идет не о каком-то конкретном обвале (которого Пушкин не видел), но, как в «Анчаре», о редком природном явлении, преобразованном коллективной памятью в единичный полумифический феномен. Описание происшедшего, сначала правдоподобное, к концу стихотворения превращается в небылицу с почти сказочными подробностями⁹⁷: над Тереком вырастает «ледяный свод» – своего рода мост или виадук, через который идет «широкий путь», доступный лошадям, волам и даже верблюдам⁹⁸.

⁹⁶ The Poetical Works of William Wordsworth / Ed. from the manuscript with textual and critical notes by E. de Selincourt and H. Darbishire. Vol. 3. Oxford, 1946. P. 69–71 (см. также примеч.: P. 438, 443).

⁹⁷ В советской пушкинистике доминировала противоположная точка зрения. Так, Д. Д. Благой утверждал, что «Обвал» отличается «протокольной точностью» пейзажного описания (*Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина (1826–1830). М., 1967.

На самом деле, конечно, большие горные обвалы в Девдоракском ущелье не создавали, а разрушали дороги, и движение через них было сопряжено с невероятными трудностями. А. С. Грибоедов, проезжавший по Военно-Грузинской дороге через год с лишним после обвала 1817 года, отметил в путевых записках: «Большой объезд по причине завала: несколько переправ через Терек»⁹⁹. Как свидетельствовал П. П. Зубов, по завалам, образовавшимся на обоих берегах Терека вследствие гигантской лавины 1832 года, и на следующее лето «подняться и спускаться было крайне затруднительно»:

Проталины на каждом шагу; дорога косогором; спуски по льду гладкому, как зеркало. Всякий неосторожный шаг мог влечь к безвозвратной гибели. <...> За переправу повозок и выюков через завал платили огромные суммы. Повозки переносили на руках солдаты и Осетины с невероятной трудностью; путешественников переводили Осетины, держа под руки; и всякий, переехавший в то время Кавказ, произнес сердечную благодарную молитву Богу за спасение его от очевидной смерти. Правая же сторона завала, кроме массы сплошного льда и снега, не весьма высокой, покрыта была сверху еще новым завалом окрестных гор, состоящим из земли и камней, обрушенных ниспадавшею водою с гор от таявшего снега. Путь по сему завалу был труден до чрезвычайности. Пешком невозможно идти по причине глубокой грязи, а ехавши верхом – нога лошади беспрестанно скользила, из-под оной грязь, камень, снег и лед с шумом катились в отверстия, прорытые водою до самого Терека, и за каждый неосторожный шаг можно было заплатить жизнью¹⁰⁰.

Характерно, что единственная бесспорная параллель к пушкинскому образу чудесного ледяного моста была обнаружена В. Л. Комаровичем¹⁰¹ в путевых записках поэта С. Д. Нечаева, который выше Кавказских Минеральных Вод в горы не поднимался и никаких обвалов не видел. В первом же абзаце отрывка, напечатанного в 1826 году в «Московском телеграфе», Нечаев явно передает сведения о природных катастрофах, услышанные от старожил:

С. 371–372).

⁹⁸ Как указал А. К. Жолковский, мотив движения по льду в поэзии Пушкина, и в том числе в «Обвале», имеет генетические («К Овидию») и типологические сходства с описанием зимы на Черном море в «Скорбных элегиях» (Tristia) Овидия (III, 10). См.: Жолковский А. К. Заметки о тексте, подтексте и цитации у Пастернака (К различию структурных и генетических связей) // Boris Pasternak. Essays / Ed. by N. A. Nilsson. Stockholm, 1976. P. 77–78. Для «Обвала» особенно значимы стихи 31–34, где появляется образ ледяных мостов над текущей водой, по которым движутся пешеходы, кони и волы. Ср.: «Там, где шли корабли, пешеходы идут, и по водам, / Скованным стужей, бьет звонко копыто коня. / Вдоль по нежданым мостам <лат.: *novos pontes*> – вода подо льдом протекает – / Медленно тащат волы тяжесть сарматских телег» (пер. С. В. Шервинского). Заметим, что Овидий, никогда прежде не видевший замерзших рек и морей, описывает их как удивительное явление, в которое трудно поверить («vix equidem credar»).

⁹⁹ Грибоедов А. С. Полное собрание сочинений: В 3 т. СПб., 1999. Т. 2. С. 288.

¹⁰⁰ Зубов П. П. Картина Кавказского края, принадлежащего России, и сопредельных оному земель; в историческом, статистическом, этнографическом, финансовом и торговом отношениях. Ч. 2. СПб., 1835. С. 176–178. Зубов с небольшими изменениями и дополнениями повторяет здесь свое же описание пути через завалы из книги: Шесть писем о Грузии и Кавказе, писанных в 1833 году Платоном Зубовым с 4 видами и виньеткой. М., 1834. С. 43–45 (*Библиотека Пушкина*. С. 43. № 156). Ср. описание завала 1832 года в воспоминаниях барона Торнау: «Проезд по Военно-Грузинской дороге прекратился в заваленном месте; почтовые лошади подвозили к подножию выросшей на пути снеговой горы, по другую сторону свежие тройки принимали путешественников. На завал приходилось подыматься по ступеням вырубленным во льду. Посредине снеговой массы образовалась расселина стофутовой глубины, через которую для перехода были переброшены доски. Расселина эта на другой год до того расширилась, что принуждены были переправлять через нее в висячем ящике, ходившем на блоках по толстым канатам» ([Торнау Ф. Ф.] Воспоминания о Кавказе и Грузии // Русский вестник. 1869. Т. 80. № 4. С. 696).

¹⁰¹ См.: Комарович В. Л. Вторая кавказская поэма Пушкина // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т. 6. М.; Л., 1941. С. 217 (примеч. 4).

Падения снежных глыб случаются здесь весьма нередко. Недавно огромный куб снега и камней, скатившись с вершины Казбека, совсем было прекратил течение Терека. Легко могло бы образоваться временное озеро и затопить все окрестные долины, но чрезвычайная быстрота реки скоро пробилла путь под глыбою, по которой потом ездили как по мосту, и немало времени потребно было, чтобы ужасная сия скала совершенно растаяла в соседстве ледяных вершин. – Бывают часто и землетрясения. После одного, замеченного в Бештовых горах, вдруг иссяк главный серный источник <...> но к счастью чрез несколько дней вода вновь показалась в водоеме, и в прежнем изобилии¹⁰².

Едва ли можно согласиться с В. Д. Раком, объясняющим сходство двух описаний тем, что Пушкин помнил о прочитанном за три года до путешествия на Кавказ очерке Нечаева¹⁰³. Скорее, на обоих поэтов произвели сильное впечатление одни и те же рассказы, которыми местные жители любят страшать приезжих и которым как Нечаев, так и Пушкин готовы были поверить, потому что искали в кавказской природе необычное, невероятное, небывалое. В этой связи отметим, что у Нечаева кавказский фольклор сразу же вызвал ассоциации с легендарной Шотландией Оссиана. Прослушав какие-то песни «черкесских бардов» в переводе, за точность которого не поручился сам толмач, он отметил «некоторое сходство с Шотландскими песнями, изданными Макферсоном. Те же сравнения из дикой, величественной природы, те же предметы...»¹⁰⁴ Обвалы, землетрясения, внезапно иссякающие источники, воинственные горцы, распеваящие оссианические песни и, по слову А. А. Бестужева-Марлинского, «ожидая своего Валтер-Скотта»¹⁰⁵, – все это составные части единого комплекса кавказской экзотики, к созданию которого Пушкин приложил руку еще в «Кавказском пленнике».

В пушкинистике принято сопоставлять «Обвал» с тематически близким абзацем из первой главы «Путешествия в Арзрум»:

Дорога шла через обвал, обрушившийся в конце июня 1827 года. Таковые случаи бывают обыкновенно каждые семь лет. Огромная глыба, свалясь, засыпала ущелие на целую версту и запрудила Терек. Часовые, стоявшие ниже, слышали ужасный грохот и увидели, что река быстро мелела и в четверть часа совсем утихла и истошилась. Терек прорылся через обвал не прежде, как через два часа. То-то он был ужасен! [VIII: 453]

Поскольку этот пассаж отсутствовал в ранней редакции главы – очерке «Военная Грузинская дорога (Извлечено из путевых записок А. Пушкина)», напечатанном в номере «Литературной газеты» за 5 февраля 1830 года, – и, по всей видимости, был написан только в 1835 году, его обычно возводят к описаниям кавказских обвалов в тех книгах, которыми Пушкин

¹⁰² Нечаев С. Д. Отрывки из Путевых Записок о Юго-Восточной России // Московский Телеграф. 1826. Ч. 7. № 1. С. 26–27. Позже, уже после публикации «Обвала», образ ледяного моста появляется в незаконченном романе несчастного Александра Шишкова (см. о нем: Шадури В. Друг Пушкина А. А. Шишков и его роман о Грузии. Тбилиси, 1951). Герой романа, молодой чиновник Лонской, едуший в Грузию, на перевале у Крестовой горы слышит позади «сильный, тяжелый удар», от которого «по ущелиям гор пробежал трепетный гул, и испуганные орлы поднялись с диким криком». Спутник героя, кавказский старожил, объясняет недоумевающему путешественнику, что это большой обвал. «Дня через два, – продолжает он, – Терек, запруженный обвалом, прорвет его и образует над собой крутой, ледяной мост, как триумфальную арку» (Сочинения и переводы Капитана А. А. Шишкова. Ч. 3. СПб., 1835. С. 5–6).

¹⁰³ Рак В. Д. К датировке стихотворения «Обвал». С. 327.

¹⁰⁴ Нечаев С. Д. Отрывки из Путевых Записок о Юго-Восточной России. С. 37.

¹⁰⁵ [Бестужев-Марлинский А. А.] Письмо к доктору Эрману // Полное собрание сочинений А. Марлинского. Русские повести и рассказы. Изд. 3-е. Ч. 3. СПб., 1838. С. 240. В письме к Н. А. и К. А. Полевым от 16 декабря 1831 года Бестужев назвал Дагестан «land of mountains and floods», процитировав десятую песнь «Дон Жуана» Байрона, где этими словами охарактеризована Шотландия (Бестужев-Марлинский А. А. Кавказские повести / Изд. подгот. Ф. З. Канунова. СПб., 1995. С. 510, 687). Байрон, в свою очередь, цитировал поэму Вальтера Скотта «Песнь последнего минестреля» (VI, 2).

пользовался как источниками при работе над «Путешествием в Арзрум». Во-первых, это указанные М. О. Гершензоном «Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию в 1827 году *Н... Н...*» (М., 1829; *Библиотека Пушкина*. С. 67. № 252)¹⁰⁶, автором которых, как установил впоследствии тбилисский исследователь Вано Шадури, был Н. А. Нефедьев¹⁰⁷. Здесь внимание исследователей привлекло следующее место, откуда, по утверждению Б. В. Томашевского¹⁰⁸, Пушкин и заимствовал сведения об обвале 1827 года:

Дорога от Кобии, доставляя удовольствие проститься с шумным Терекком, уклоняющимся вправо, грозит проезжающим снеговыми обвалами и трудную переправу чрез горы Крестовую и Гут.

Обвалы обыкновенно бывают или зимою при множестве снегов, или весною, когда снег тает. Место, подверженное с сей стороны опасности, начинается верстах в трех от Коби и продолжается версты на четыре по речке, возле которой в узком осеяемом горами овраге идет дорога. Причины ничтожные производят ужасное явление сих обвалов: силою ветра, легким бегом зверя или другою случайностию отрывается на высоте камень или маленький ком снега, который, катясь вниз, с каждым оборотом увеличивается и наконец достигает такой огромности, что, производя в воздухе страшный гул, покрывает овраг в длину на целую версту и более и на несколько сажень вышиною. В таких случаях бедным проезжающим нет спасения! После каждого обвала продолжение вновь пути стоит неимоверного труда, и сообщение на долгое время прекращается. Такой обвал случился до нас за месяц, и мы в конце июня ехали по громадам снега, под которым стремилась вода и, местами показываясь, опять исчезала¹⁰⁹.

Другой возможный источник пушкинского рассказа об обвале был обнаружен Ю. Н. Тыняновым во втором томе книги «Путешествие по России» французского консула в Тифлисе Т. Ф. Гамба (опубл. 1826):

A deux werstes de Dariel nous vîmes à droite, de l'autre côté du Terek, des monceaux de glace, débris de la terrible avalanche descendue du Kazbek en 1817 : elle couvrit plus de deux werstes de pays, et arrêta le cours du Terek. Ce fleuve déborda alors des tous côtés, et rendit, pendant deux ans, la route impraticable aux voitures. Il paroît que cette catastrophe se renouvelle tous les sept ou huit ans. Le Kazbek se charge, pendant cet intervalle, d'une masse énorme de neige et de glaces, dont l'accumulation finit par perdre son équilibre, et qui couvre, par sa chute, une vaste étendue de pays¹¹⁰.

¹⁰⁶ Гершензон М. О. «Путешествие в Арзрум» (1829–1830) // Гершензон М. О. Статьи о Пушкине. М., 1926. С. 50–59.

¹⁰⁷ Шадури В. [1] Друг Пушкина А. А. Шишков и его роман о Грузии. С. 8, 307; [2] Декабристская литература и грузинская общественность. Тбилиси, 1958. С. 441; [3] Пушкин и грузинская общественность. Тбилиси, 1966. С. 105.

¹⁰⁸ См. его примечание к первой фразе абзаца: «Сведения об этом обвале Пушкин заимствовал из книги Н. Нефедьева, но при этом допустил неточность; в книге сказано: „Такой обвал случился до нас за месяц, и мы в конце июня ехали по громадам снега“. Следовательно, обвал произошел в конце мая» (Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. / Изд. 2-е. М., 1957. Т. 6. С. 809).

¹⁰⁹ [Нефедьев Н. А.] Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию в 1827 году. М., 1829. С. 111–113.

¹¹⁰ Voyage dans la Russie méridionale, et particulièrement dans les provinces situées au-delà du Caucase, fait depuis 1820 jusqu'en 1824; par le chevalier Gamba, consul du Roi à Tiflis / 2e éd. Т. 2. Paris, 1826. Р. 24. Букв. пер.: «В двух верстах от Дарьяла мы увидели справа, на другой стороне Терека, ледяные глыбы, остатки ужасной лавины, сошедшей с Казбека в 1817 году: она накрыла более двух верст земли и остановила течение Терека. Тогда река вышла из берегов и на два года сделала дорогу непроходимой для повозок. Кажется, такая катастрофа повторяется каждые семь или восемь лет. За этот промежуток времени Казбек обрастает гигантской массой снега и льда, образование которой заканчивается тем, что она теряет равновесие и, падая, накрывает огромное пространство».

Согласно Тынянову, именно это сообщение Гамба, проезжавшего по Военно-Грузинской дороге в 1820 году, явилось не только источником процитированного выше абзаца «Путешествия в Арзрум», но и «сюжетом стихотворения „Обвал“»¹¹¹. Замечание Тынянова было подхвачено и развито В. Д. Раком, пришедшим к выводу, что «Обвал» никак не мог быть написан до знакомства Пушкина с книгами Нефедьева и Гамба, которое произошло, по мнению исследователя, после 5 февраля – дня публикации очерка «Военная Грузинская дорога», где эти источники «Путешествия в Арзрум» не отражены. «Живописная картина» обвала, утверждает В. Д. Рак, сложилась в воображении Пушкина только тогда, «когда на воспоминания о сходе лавины, сами по себе довольно сухие, наложились описания, прочитанные в книгах. Тогда-то и образовалась благодатная почва, на которой вырос и «Обвал», и – позднее – абзац в „Путешествии в Арзрум“»¹¹². Поэтому он предложил датировать стихотворение летом 1830 года, когда Пушкин вспоминал о «снеговых лавинах» в исправленной тогда строфе «Путешествия Онегина» и начал два наброска на кавказские темы¹¹³.

Как нам представляется, элегантная конструкция, выстроенная В. Д. Раком, зиждется на еще более шатких основаниях, чем в случае с «шотландской строфой». Сравнив пушкинские «живописные картины» с их предполагаемыми источниками, нельзя не убедиться, что последние имеют мало общего с абзацем из «Путешествия в Арзрум» и ничего – с «Обвалом» (если не считать, конечно, констатации общеизвестного факта: «На Кавказе случаются горные обвалы»). У Нефедьева Пушкин взял для «Путешествия в Арзрум» указания на год, месяц (с ошибкой) и протяженность обвала, а также его топографическую локализацию (дорога, идущая от Коби), что привело к наложению друг на друга двух различных локусов и природных явлений¹¹⁴. Кажется, Пушкин не заметил (или предпочел не заметить), что Нефедьев рассказывает отнюдь не о грандиозной лавине на Тереке – катастрофическом событии, которое, по Пушкину, случается «каждые семь лет», а о заурядном сезонном обвале в более чем трех верстах от Терека, на безымянной речке, вдоль которой идет узкая дорога к Крестовой горе¹¹⁵. Это дало возможность Пушкину, не сильно погрешив против фактов (ведь он

¹¹¹ Тынянов Ю. Н. О «Путешествии в Арзрум» // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1968. С. 206.

¹¹² Рак В. Д. К датировке стихотворения «Обвал». С. 322–323.

¹¹³ Там же. С. 327–328.

¹¹⁴ На допущенную Пушкиным контаминацию первым указал кавказовед Е. Г. Вейденбаум, писавший: «Судя по описанию, речь идет о так называемом казбекском завале, но в июне 1827 года такого завала не было и, во всяком случае, Пушкин не мог видеть остатки его между сел. Коби и Крестовым перевалом, так как казбекский завал падает на военно-грузинскую дорогу по Девдоракскому ущелью, между Дариалом и сел. Гвелети. Та часть военно-грузинской дороги, о которой говорит Пушкин, проходит по Байдарскому ущелью, известному обилием снежных обвалов» (Вейденбаум Е. Г. Примечания и объяснения к «Путешествию в Арзрум» и хронологическая канва к кавказскому путешествию А. С. Пушкина в 1829 г. // Кавказская поминка о Пушкине (26 мая 1799 – 26 мая 1899 г.). Тифлис, 1899. С. 52 (примеч. 16)). Осетинский краевед Г. И. Кусов попытался объяснить противоречие тем, что Пушкин «посчитал нужным не рассеивать рассказы об „обвалах“ по всему дневнику, а сосредоточить их описание в одном месте. И сделал это на странице, где шел рассказ о переезде через Крестовый перевал с полковником Огаревым, „осматривающим местные дороги“» (Кусов Г. И. Малоизвестные страницы Кавказского путешествия А. С. Пушкина. Орджоникидзе, 1987. С. 137). Это объяснение не кажется особенно убедительным, потому что абзац об обвалах был поздней, написанной на отдельном листе вставкой в уже законченный текст «Путешествия», которую Пушкин в принципе мог «вклеить» и в рассказ о пути от Дариала к Казбеку, где он был бы более уместен не только по топографическим или гляциологическим, но даже и по стилистическим соображениям, ибо первое слово в нем тогда не повторяло бы последнее слово предыдущего абзаца («...дороги. // Дорога»). С другой стороны, в этом случае Пушкину пришлось бы указать, что последний казбекский завал произошел не в 1827, а в 1817 году, то есть за двенадцать лет до его путешествия, и, следовательно, отказаться от роли очевидца, рассказывающего лишь о том, что он видел своими глазами.

¹¹⁵ Снежные завалы на этом участке дороги отмечают как Гамба, проезжавший здесь в конце мая 1820 года (см.: Voyage dans la Russie méridionale. Т. 2. Р. 34), так и П. П. Зубов. «Часто слышно об обвалах, засыпающих дорогу, – пишет последний, – но редко о погибших от сего путешественниках, благодаря попечению правительства» (Шесть писем о Грузии и Кавказе, писанных в 1833 году Платоном Зубовым с 4 видами и виньеткой. С. 50). Возможно, рассказ о гибели на Крестовой горе русского извозчика, вставленный Пушкиным в рукопись «Путешествия в Арзрум» («Обвал оборвался; страшная глыба свалилась на его повозку; поглотила телегу, лошадь и мужика, перевалилась через дорогу и покатила в пропасть со своею добычею» [VIII: 453–454]), был ответом на чересчур благостную и, главное, верноподданническую картину, нарисованную Зубовым. Барон Торнау был очевидцем того, как в марте 1832 года «около Байдары свалился снежный завал и засыпал ехавших из

действительно проезжал по той самой дороге, где в 1827 году произошел обвал, описанный Нефедьевым, хотя следов его, конечно, не застал), создать у читателя «Путешествия в Арзрум» впечатление, что он, подобно Гамба или Платону Зубову, которые наблюдали ледяные завалы на берегах Терека через длительное время после схождения гигантских лавин, соответственно, 1817 и 1832 годов, воочию видел то, о чем, на самом деле, только слышал и читал.

Что же касается «Обвала» (где Пушкин, в отличие от «Путешествия в Арзрум», не претендует на роль очевидца), то в нем не обнаруживается ни единой параллели к рассказу Нефедьева. Правда, В. Д. Рак указывает на переключку между «страшным гулом», которым, по Нефедьеву, сопровождается обвал, и «страшным грохотом» лавины в стихотворении (ср. также «ужасный грохот» в «Путешествии в Арзрум»), но это – лишь подробность, которая отражает реальность и повторяется во многих описаниях горных обвалов, как западноевропейских (ср., например, примеры из Байрона в примеч. 17), так и русских. Среди «диких картин Кавказа» в строфах из оды Г. Р. Державина «На возвращение графа Зубова из Персии», процитированных в пушкинских примечаниях к «Кавказскому пленнику», есть образ снегов, которые «с грохотом <...> падут, лежавши целы веки» [IV: 115]¹¹⁶. Несомненно, Пушкин читал и монолог Чацкого в ранней редакции «Горя от ума», где герой вспоминает кавказские лавины:

Я был в краях,
Где с гор верхов ком снега ветер скатит,
Вдруг глыба этот снег, в падении все охватит,
С собой влечет, дробит, стирает камни в прах,
Гул, рокот, гром, вся в ужасе окрестность.

(Акт 4, сц. 10)¹¹⁷

Сам Пушкин слышал с вершины Крестовой горы «глухой грохот» или «ропот», произведенный «малым обвалом»¹¹⁸, и легко мог представить себе, какой страшный шум должен производить обвал гигантский.

Еще меньше точек пересечения с обоими пушкинскими описаниями обвала имеет указанный Тыняновым фрагмент книги Гамба, хотя в данном случае речь идет об одном и том же природном феномене. Если для Пушкина центральный момент катастрофы – это прорыв Терека сквозь ледяную преграду, то Гамба говорит только о разливе реки; «широкий путь» в «Обвале» противоречит тому, что французский путешественник сообщает о прекращении движения по дороге; лавина у Пушкина засыпает ущелье «на целую версту», а у Гамба – на две версты и более. Единственное же совпадение – и в записках Гамба, и в «Путешествии в Арзрум» отмечена примерно одна и та же периодичность гигантских обвалов на Тереке – можно объяснить тем, что представления об этом издавна бытовали среди кавказских старожил и, вероятно, внушались всем приезжим. Так, еще после разрушительного обвала 1808 года граф Иван Васильевич Гудович, командовавший тогда русскими войсками на Кавказе, писал в донесении, что такое бедствие, «по уверению жителей, возобновляется через каждые семь лет»¹¹⁹. Прочитав эту фразу, Л. П. Семенов справедливо указал, что «в действительности, подоб-

Грузии с почтой трех почтарей, двух казаков и семь лошадей» ([Торнау Ф. Ф.] Воспоминания о Кавказе и Грузии. С. 30).

¹¹⁶ Я благодарен О. А. Проскурину, напомнившему мне об этом пушкинском примечании.

¹¹⁷ Грибоедов А. С. Горе от ума / Изд. подгот. Н. К. Пиксанов при участии А. Л. Гришунина. 2-е изд. М., 1987. С. 260 (Литературные памятники).

¹¹⁸ См. запись в его кавказском дневнике 1829 года, с некоторыми изменениями воспроизведенную в «Путешествии в Арзрум»: «Мы достигли снежной вершины Кавказа. – В это время услышал я глухой грохот <в «Путешествии»: «ропот»>. – Обвал, – сказал мне полковник. Я оглянулся и увидел в стороне огромную грудку снега, которая сыпалась и медленно съезжала с крутизны» (Пушкин А. С. Дневники. Записки / Изд. подгот. Я. Л. Левкович. СПб., 1995. С. 24 (Литературные памятники)).

¹¹⁹ Сборник сведений о завалах, упавших с горы Казбек с 1776 по 1878 год на Военно-Грузинскую дорогу. Тифлис, 1884. С. 16.

ной периодичности в обвалах не наблюдается; наиболее значительные обвалы были в 1808, 1817 и 1832 годах»¹²⁰. Однако, хотя к началу 1830-х годов стало ясно, что реальная хронология катастроф не подтверждает распространенную легенду, русские авторы книг о Кавказе упорно держатся ошибочных представлений. В упомянутой выше сцене из незаконченного романа А. А. Шишкова (который Пушкин, скорее всего, читал до начала работы над «Путешествием в Арзрум», так как хлопотал о посмертном издании сочинений своего убитого приятеля, где этот роман и был напечатан) кавказский старожил говорит герою, что обвал, свидетелями которого они оказались, «случается через каждые семь лет»¹²¹. Утверждение, что «подобные случаи бывают периодически, через каждые семь лет, иногда же и более», повторяется и в обеих книгах П. П. Зубова¹²². Очевидно, похожая формула у Пушкина не восходит к какому-то конкретному источнику, а является устойчивым элементом «кавказского дискурса» первых десятилетий XIX века.

Опора пушкинских описаний не на книги о Кавказе, а на устную традицию ярче всего проявляется в их «сильных местах», которые не имеют аналогов в источниках, – в стихах «Обвала» о ледяном своде над Терекком и в той фразе из «Путешествия в Арзрум», где вводится точка зрения неких надежных свидетелей происшедшего – каких-то неведомых «часовых», которые слышали «ужасный грохот» и видели, как Терек внезапно обмелел. Г. И. Кусов предположил, что в последнем случае Пушкин передает рассказы, услышанные им на Кавказе «от очевидцев» – скорее всего, от самих «солдат-часовых»¹²³. Верное по сути, это предположение явно нуждается в некоторой корректировке, ибо за двенадцать лет, прошедших с обвала 1817 года, часовых должны были сменить, а очевидцы (если таковые были среди собеседников Пушкина) успели многое забыть, перепутать и приукрасить. Пушкину, несомненно, запомнились эффектные подробности каких-то рассказов об обвалах 1808 и 1817 годов, но сами эти рассказы были уже вторичной версией событий, своего рода местным преданием со всеми особенностями, присущими таким нарративам, – отсылками к «надежным», но неидентифицируемым свидетелям (отсюда – безымянные «часовые»), преувеличениями и искажениями, усиливающими фабульную связность, риторическими фигурами. Как показывают примеры «Бориса Годунова», «Анчара», «Моцарта и Сальери», «Героя», «На Испанию родную...» и ряда других произведений, легенды, предания и рассказы часто воздействовали на поэтическое воображение Пушкина сильнее, нежели исторические или естественно-научные «факты», и его изображения кавказских природных катастроф – еще одно тому подтверждение.

Кажется, еще никем не было замечено, что в оборванном стихотворном черновике, предположительно датированном концом 1829 года, Пушкин уже пытался изобразить внезапную остановку Терека примерно так же, как в «Путешествии в Арзрум», – с точки зрения наблюдателя, не понимающего, что заставило реку *утихнуть* и *истоиться* (выделенные слова будут потом использованы и в прозаическом описании):

Меж горных <стен><?> несется Терек,
Волнами точит дикий берег,
Клокочет вокруг огромных скал,
То здесь, [то там] дорогу роет,
Как зверь живой, ревет и воет —
И вдруг утих и смирен стал.
Всё ниже, ниже опускаясь,

¹²⁰ Семенов Л. П. Пушкин на Кавказе. Пятигорск, 1937. С. 83.

¹²¹ Сочинения и переводы Капитана А. А. Шишкова. Ч. 3. С. 6.

¹²² Шесть писем о Грузии и Кавказе, писанных в 1833 году Платоном Зубовым с 4 видами и виньеткой. С. 43; Зубов П. П. Картина Кавказского края, принадлежащего России. Ч. 2. С. 175.

¹²³ Кусов Г. И. Малоизвестные страницы Кавказского путешествия А. С. Пушкина. С. 138.

Уж он бежит едва живой.
Так, после бури истощаясь,
Поток струится дождевой.
И вот < > обнажилось
Его кремнистое русло.

[III: 201]

Очевидным логическим продолжением наброска должно было бы стать объяснение причин странной аномалии и, следовательно, переход к рассказу о лавине, перегородившей реку выше по течению. Таким образом, перед нами – самый первый подступ к теме «Обвала», который, видимо, не удовлетворил Пушкина из-за того, что избранный им ракурс изображения не оставлял места для введения лирического «я» и требовал определенной «прозаической» фокализации (использованной потом в «Путешествии в Арзрум»). Можно с уверенностью предположить, что набросок непосредственно предшествовал «Обвалу», на что прямо указывает, помимо прочего, переключка стихов «И вдруг утих и смирен стал» и «Вдруг, истощаясь и при-смирив». По-видимому, Пушкин изменил план, когда нашел иной, «поэтический» угол зрения, позволивший ему представить природный феномен как драматическую стычку двух сил – стремительной и преграждающей движение, вечной и преходящей. «Шотландская строфа» с ее сплошными мужскими рифмами и двумя короткими стихами в каждой строфе, которые как бы пробиваются из-под толщи стихов длинных¹²⁴, если не подсказала Пушкину новый поворот темы, то во всяком случае оказалась ему адекватной.

Изложенные выше соображения, к сожалению, не позволяют сузить датировку «Обвала», предложенную Н. В. Измайловым в «большом» академическом собрании сочинений («написано между 24 мая и декабрем (?) <1829 года. – А. Д.>» [III: 1196]), а, наоборот, заставляют поднять ее верхнюю границу до 29–30 октября 1830 года. Следует, однако, обратить внимание на одно обстоятельство. Известно, что в декабре 1829 – начале января 1830 года Пушкин работал над двумя переводами из Роберта Саути, «Гимн пенатам» («Еще одной высокой, важной песни...») и «Медок» («Попутный веет ветер. – Идет корабль...»)¹²⁵, пытаясь освоить новую для него стиховую форму, распространенную в английской романтической поэзии, – пятистопный безглагольный белый ямб. Не исключено, что обращение Пушкина к «шотландской строфе» тоже явилось результатом изучения особенностей английского стихосложения, предпринятого в это время. Косвенным аргументом в пользу нашего предположения являются определенные лексические, синтаксические и звуковые переключки между предпоследней фразой «Медока» – «...и корабль надежный / Бежит, шумя, меж волн», с одной стороны, и некоторыми стихами как «Обвала», так и предшествовавшего ему наброска – с другой. Ср.:

Меж горных стен несется Терек
Уж он бежит едва живой
Шумят и пенятся валы
И всю теснину между скал
И Терек злой под ним бежал
И шумной пеной орошал

¹²⁴ На иконическую выразительность «Обвала» обратил внимание А. К. Жолковский. По его наблюдению, только во второй строфе стихотворения короткие строчки содержат одно слово, что конкретизирует ее главную тему – «глыба, занимающая все пространство и останавливающая движение» (см.: Жолковский А. К. How to show things with words (Об иконической реализации тем средствами плана выражения) // Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности. Инварианты – тема – приемы – текст. М., 1996. С. 80–81).

¹²⁵ Даты установлены Я. Л. Левкович. См.: Левкович Я. Л. [1] Рабочая тетрадь Пушкина ПД, № 841 (История заполнения) // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 12. Л., 1986. С. 267–268; [2] Рабочая тетрадь Пушкина ПД, № 842 (История заполнения) // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 14. Л., 1991. С. 152.

Во всяком случае, к концу 1829 года все предпосылки для написания «Обвала» были налицо: услышанные на Кавказе рассказы и рассказы еще свежи в памяти, английские книги – под рукой, переводы И. Козлова из Бернса, вероятно, прочитаны. Поэтому есть основания выделить зиму 1829–1830 года как зону повышенной вероятности внутри предельно широкого интервала датировки стихотворения (не ранее 24 мая 1829 года – не позднее 30 октября 1830 года), хотя точное время и место его создания мы, боюсь, определить никогда не сможем.

Приложение

Иван Козлов

К полевой маргаритке, которую Роберт Борнс, обрабатывая свое поле, нечаянно срезал железом сохи в апреле 1786 г.

(Козлов И. И. Полное собрание стихотворений. С. 170–171)

Цветок пунцовый, полевой!
Ты, бедный, встретился со мной
Не в добрый час: тебя в красе
Подрезал я.
Жемчуг долин, не можно мне
Спасти тебя!

Не пестрый, резвый мотылек
Теперь твой нежный стебелек
На дерн, увлажненный росой,
Порхая, гнет;
К тебе румяною зарей
Он не прильнет.

В холодном поле ветер шумел,
И дождик лил, и гром гремел;
Но туча мрачная прошла,
Меж тем в глуши
Ты нежно, тихо расцвела,
Цветок любви.

Сады дают цветам своим
Приют и тень—и люблю им;
Но сироту, красу полян,
Кто сбережет?
От зноя туча, иль курган
От непогод?

Из-под травы едва видна,
Цвела ты, прелести полна,
И солнца луч с тобой играл;
Но тайный рок
Железо острое наслал —
Погиб цветок...

Таков удел, Мальвина, твой,
Когда невинною душой
Ты ловишь нежные мечты;
Любовь страшна:

Robert Burns

To a Mountain Daisy, on turning one down with the plough, in April, 1786.

(The Poetical Works of Robert Burns. Vol. 1. P. 128–129)

Wee, modest, crimson-tipped flow'r,
Thou's met me in an evil hour;
For I maun crush amang the stoure
Thy slender stem;
To spare thee now is past my pow'r,
Thou bonnie gem.

Alas! it's no thy neebor sweet,
The bonie *Lark*, companion meet!
Bending thee 'mang the dewy weet!
Wi' spreckl'd breast,
When upward-springing, blythe, to greet
The purpling east.

Cauld blew the bitter-biting north
Upon thy early, humble birth;
Yet cheerfully thou glinted forth
Amid the storm,
Scarce rear'd above the parent-earth
Thy tender form.

The flaunting flow'rs our gardens yield,
High shelt'ring woods and wa's maun shield,
But thou, beneath the random bield
O' clod or stane,
Adorns the histie *stibble-field*,
Unseen, alane.

There, in thy scanty mantle clad,
Thy snawy bosom sun-ward spread,
Thou lifts thy unassuming head
In humble guise;
But now the *share* uptears thy bed,
And low thou lies!

Such is the fate of artless maid,
Sweet *flow'ret* of the rural shade!
By loves simplicity betray'd,
And guileless trust;

Как мой цветок, увянешь ты
В тоске, одна.

Певцу удел такой же дан:
Бушует жизни океан,
Не видно звезд, а он плывет,
Надежда мчит;
Он прост душой, он счастья ждет.
Челнок разбит.

И добрый, злыми утеснен,
Тому ж уделу обречен:
Никто ничем не упрекнет,
А жил в слезах;
Приюта нет: он отдохнет...
На небесах!

И я горю о цветке;
А может быть, невдалеке
Мой черный день; и как узнать,
Что Бог велел?
Не о себе ли горевать
И мой удел?..

Till she, like thee, all soil'd, is laid
Low i' the dust.

Such is the fate of simple Bard,
On Life's rough ocean luckless starr'd!
Unskilful he to note the card
Of *prudent* lore,
Till billows rage, and gales blow hard,
And whelm him o'er.

Such fate to *suffering* worth is giv'n,
Who long with wants and woes has striv'n,
By human pride or cunning driv'n
To mis'ry's brink,
Till wretch'd of ev'ry stay but *Heav'n*,
He, ruin'd, sink!

Ev'n thou who mourn'st the Daisy's fate,
That fate is thine — no distant date;
Stern Ruin's *ploughshare* drives, elate,
Full on thy bloom,
Till crush'd beneath the furrow's weight
Shall be thy doom!

Postscriptum

После выхода моей статьи И. А. Пильщиков установил, что англоязычная запись в «первой арзрумской» тетради Пушкина (ПД 841) «farewell my friend, / — — my foes!», ранее оставшаяся неатрибутированной, представляет собой цитату из финала стихотворения Роберта Бернса «The gloomy night is gath'ring fast...» («Быстро наступает темная ночь...», 1786–1790):

Farewell, my friends! Farewell, my foes!
My peace with these, my love with those —
The bursting tears my heart declare,
Farewell the bonnie banks of Ayr!¹²⁶

Следовательно, мое утверждение, будто бы «никаких свидетельств интереса Пушкина к Бернсу не существует», ошибочно и нуждается в корректировке.

¹²⁶ Пильщиков И. А. Из заметок об иноязычных записях Пушкина: Пушкин и Бернс // Русская литература. 2012. № 1. С. 87–92.

КОММЕНТАРИЙ К ДВУМ СТИХАМ ИЗ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»

VI: XXIII, 1. «Так он писал темно и вяло»

Известная характеристика элегического стиля Ленского – «темно и вяло» – в тексте «Евгения Онегина» выделена курсивом и, следовательно, является цитатой, чужим словом. Ю. М. Лотман в своем комментарии связал ее с двумя критическими статьями Кюхельбекера, направленными против элегической поэзии, где она была названа «водяной, вялой описательной», а произведения ее приверженцев – «мутными, ничего не определяющими, изнеженными, бесцветными»¹²⁷. Сходная направленность негативных оценок, однако, не дает оснований говорить о цитировании: самого словосочетания «темно и вяло» в статьях Кюхельбекера нет, а есть только прилагательное «вялый», которое, в свою очередь, в журнальной публикации было выделено курсивом¹²⁸ и, следовательно, не является авторским.

В. В. Набоков обратил внимание, что наречиями «вяло» (пять раз) и «темно» (трижды) Пушкин характеризует некоторые стихи в пометах на полях 2-й части «Опытов в стихах и прозе» Батюшкова [XII: 257, 258, 259, 261, 271, 276, 283]¹²⁹. Согласно новейшей датировке О. А. Проскурина, Пушкин делал эти маргиналии в августе – сентябре 1823 года в Одессе¹³⁰, то есть за три года до работы над шестой главой «Евгения Онегина», так что выделение курсивом слов из собственного критического лексикона можно было бы, в принципе, считать автоцитатой, адресованной очень узкому кругу посвященных. Но, с точки зрения Набокова, «темно и вяло» – это «очевидный галлицизм», хотя, как признался сам писатель, его многолетние поиски французских примеров не увенчались успехом. Лишь в замечаниях Шатобриана к переводу «Потерянного рая» (1836) он обнаружил весьма отдаленную параллель, не имеющую к Пушкину никакого отношения¹³¹.

Проверить гипотезу Набокова с помощью современных поисковых систем не составляет большого труда. Они показывают, что во французском языке XVII – начала XIX века прилагательные *obscur/e* («темный/ая») и *mou/mole* («вялый/ая»), равно как и соответствующие существительные, довольно часто использовались как негативные характеристики поэтических текстов и что литературная критика того времени знала устойчивые выражения *obscur vers* («темные стихи») и *style mou* («вялый стиль»). Но при этом вместе они не встречались, а образованные от них наречия использовались редко и, как правило, в других значениях и контекстах. Единственное исключение составляет одна из самых любимых книг зрелого Пушкина – «Эссе» Монтеня. В ней наречие *obscurément* («темно») использовано 5 раз, а *mollement* («вяло») – пятнадцать, причем в одном случае оба этих слова образуют такую же пару, как у Пушкина, хотя и в обратном порядке. Обсуждая ограниченные возможности человеческого

¹²⁷ Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий: Пособие для учителя // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: Комментарий. СПб., 1995. С. 677.

¹²⁸ Кюхельбекер В. Разбор фон-дер-Борговых переводов Русских стихотворений // Сын отечества. 1825. Ч. 103. № 17. С. 71.

¹²⁹ Pushkin A. Eugene Onegin / Transl. from the Russian, with a commentary, by V. Nabokov. Paperback ed.: In 2 vol. Princeton University Press, 1990. Vol. II: Commentary and Index. P. 31 (второй пагинации).

¹³⁰ Проскурина О. Пометы Пушкина на полях «Опытов в стихах» Батюшкова: датировка, функция, роль в литературной эволюции: К постановке проблемы // Новое литературное обозрение. 2003. № 64. С. 251–283. Важный, хотя и косвенный аргумент в пользу этой датировки см.: Кац Б. Одиннадцать вопросов к Пушкину. Маленькие гипотезы с эпиграфом на месте послесловия. СПб., 2008. С. 32–40.

¹³¹ Pushkin A. Eugene Onegin / Transl. from the Russian, with a commentary, by V. Nabokov. Vol. II: Commentary and Index. P. 31 (второй пагинации).

сознания в эссе «Апология Раймунда Сабундского» («Apologie de Raymond de Sebonde»), Монтень писал:

Ceux qui ont apparié nostre vie à un songe, ont eu de la raison, à l'aventure, plus qu'ils ne pensoient. Quand nous songeons, nostre âme vit, agit, exerce toutes ses facultez, ne plus ne moins que quand elle veille; mais, si plus **mollement et obscurément**, non de tant, certes, que la différence y soit comme de la nuit à une clarté vifve; ouy, comme de la nuit à l'ombre: là elle dort, icy elle sommeille; plus et moins, ce sont tousiours ténèbres, et ténèbres cimmeriennes.¹³²

[Букв. пер.: Те, кто сравнивал нашу жизнь со сном, были, возможно, более правы, чем они думали. Когда мы спим, наша душа живет, действует, проявляет все свои способности не в большей и не в меньшей мере, чем когда она бодрствует, но более **вяло и темно**, хотя разница эта подобна различию не между ночью и ясным днем, а между ночью и сумерками: в первом случае душа спит, а во втором – более или менее дремлет, но всегда во тьме, в киммерийском мраке]

Если, вслед за Набоковым, считать пушкинское «*темно и вяло*» галлицизмом и рассматривать как единую цитату (хотя в прижизненных и последующих изданиях «Евгения Онегина» союз «и» курсивом не выделен), то «вяло и темно» Монтеня оказывается ее единственным возможным французским источником. Разумеется, Монтень ведет речь не о литературе, а о состоянии души во сне, но поскольку определения романтизма как особого – мечтательного, меланхолического, неясного, «темного» – миропонимания были общим местом западноевропейской критики 1820-х годов¹³³, между его рассуждением и пушкинской насмешкой над элегией Ленского возникает определенная смысловая связь. Напомню, что в черновом наброске начала статьи «О поэзии классической и романтической» (1825) Пушкин возражал как раз против подобных определений романтизма у французских критиков, которые, по его словам, «относят к романтизму все, что им кажется ознаменованным печатью мечтательности и германского идеологизма» [XI: 36]. Переадресуя слова Монтеня элегии Ленского, Пушкин дает ей (и элегической школе в целом) двойную характеристику. С одной стороны, он подчеркивает, что «вялые и темные» стихи подобного рода сочиняются «как бы во сне», в забытии, в экстазе, который после Ницше станут называть дионисийским опьянением. Недаром Ленский читает их «как Дельвиг пьяный на пиру», а затем забывается сном. С другой стороны, элегиям в духе Мильвуа, Ламартина или собственной лицейской лирики Пушкин отказывает в принадлежности к романтизму («Хоть романтизма тут ни мало / Не вижу я...» [VI: 126]), так как «темнота» и «вялость», по Пушкину, – это признаки не собственно романтической, а любой банальной необязательной поэзии.

Другое объяснение курсива было предложено Л. Я. Гинзбург, которая увидела в нем отсылку к шуточному стихотворению Н. М. Языкова «Мой Апокалипсис» (1825), где поэт, процитировав одну из своих любовных элегий, сам же подверг ее резкой критике:

Как это вяло, даже тёмно,
Слова, противные уму,
Язык поэзии негодной

¹³² Essais de Michel de Montaigne / Nouvelle éd. T. 2. Paris, 1828. P. 368–369 (Библиотека Пушкина. С. 292. № 1185).

¹³³ Ср., например, во французской рецензии на перевод «Бахчисарайского фонтана»: «...это слово <романтический>. – А. Д. <...> соединяют со всеми произведениями, <...> в которых мысли и изображения оставляют в уме читателя неопределенность и темноту» (Московский телеграф. 1826. Ч. 9. № 17. С. 76). В оригинале: «l'attacher à tous les ouvrages <...> dont les idées et les images laissent du vague et de l'obscurité dans l'esprit du lecteur» (Revue encyclopédique. 1826. T. XXX. Juin. P. 820).

И жар, негодный ни к чему!¹³⁴

Хотя стихотворение, адресованное М. Н. Дириной и носившее частный характер, при жизни Языкова не публиковалось, он, как замечает Гинзбург, мог читать его Пушкину при встречах в Михайловском или Тригорском в июне 1826 года – именно тогда, когда Пушкин работал над шестой главой «Евгения Онегина»¹³⁵.

В пользу предположения Гинзбург говорит сходство контекстов. В обоих случаях оценочные слова «темно» и «вяло» следуют за цитированием элегии и выражают ироническое отношение к ней. Если при этом учесть, что элегия Ленского в некоторых отношениях есть автопародия, то сходство усиливается. Кроме того, обращают на себя внимание еще две мелкие параллели: у Пушкина Ленский читает свои стихи, полные «любовной чепухи», «в «лирическом жару», тогда как Языков называет свою элегию «явной галиматей» и обнаруживает в ней «жар, негодный ни к чему».

С другой стороны, Языков вовсе не обязательно должен был прочитать Пушкину стихотворение годичной давности, написанное для дерптских знакомых поэта и изобилующее намеками на ведомые только им события. Если Пушкин действительно имел в виду «Мой Апокалипсис», то узнать источник цитаты смогли бы только сам Языков и еще несколько человек, знавших это стихотворение, но не входивших в число тех «посвященных» читателей, которым Пушкин обычно адресовал литературные аллюзии и реминисценции. Малая известность «Моего Апокалипсиса», а также тот факт, что Пушкин уже ранее использовал слова «темно» и «вяло» для оценок поэтических текстов¹³⁶, заставляют не исключать совпадение.

Боюсь, что на вопрос «Монтень или Языков?» мы никогда не получим ответа.

VIII: LI, 3–4. «Иных уж нет, а те далече»

«Иных уж нет, а те далече» — известнейшая пушкинская формула, существующая в трех вариантах, – многократно становилась предметом обсуждения в пушкинистике¹³⁷. Впервые она появилась в эпиграфе к «Бахчисарайскому фонтану»:

*Многие, так же как и я, посещали сей Фонтан; но иных уж нет, другие
странствуют далече.
Сади*

Затем, уже без ссылки на персидского поэта Саади, Пушкин переиначил ее в черновике «На холмах Грузии...» (1829): «Где вы, бесценные создания / Иные далеко иных уж в мире нет / Со мной одни воспоминанья» [III: 723]. И наконец, в финале «Евгения Онегина» формула, опять с отсылкой к Саади, приобрела чеканную форму: «Но те, которым в дружной встрече / Я строфы первые читал... / Иных уж нет, а те далече, / Как Сади некогда сказал» [VI: 190].

Многолетние поиски источника формулы привели исследователей к поэме Саади «Бустан» («Плодовый сад», 1257). По просьбе Г. О. Винокура, редактировавшего «Бахчисарайский фонтан» для полного академического собрания сочинений, востоковед К. И. Чайкин нашел в ней соответствующее место и дал его буквальный перевод:

¹³⁴ Языков Н. М. Полное собрание стихотворение / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. К. К. Бухмейер. М.; Л., 1964. С. 187.

¹³⁵ Гинзбург Л. Я. Об одном пушкинском курсиве // Гинзбург Л. Я. О старом и новом: Статьи и очерки. Л., 1982. С. 154–156.

¹³⁶ Л. Я. Гинзбург отметила это обстоятельство, но датировала пометы на полях «Опытов» Батюшкова 1830-м годом вслед за В. Л. Комаровичем и Б. В. Томашевским (Там же. С. 155).

¹³⁷ Историю вопроса и обзор литературы см.: Рак В. Д. Саади // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 18/19. СПб., 2004. С. 298–300; Проскурин О. А. [Комментарии к «Бахчисарайскому фонтану»] // Пушкин. Сочинения: Комментированное издание / Под общ. ред. Д. М. Бетеа. Вып. 1: Поэмы и повести. Ч. 1. М., 2007. С. 307–309.

Я услышал, что благородный Джемшид над некоторым источником написал на одном камне: «Над этим источником отдыхало много людей подобных нам. Ушли, как будто мигнули очами, т. е. в мгновение ока»¹³⁸.

Как заметил С. М. Бонди, «судя по тому, что „источник“ подлинника в пушкинском эпиграфе превратился в „фонтан“, с уверенностью можно полагать, что это изречение стало Пушкину известно из французского перевода, так как по-французски „la fontaine“ и значит „источник“»¹³⁹.

Французский перевод-посредник был обнаружен Б. В. Томашевским. Им оказался не сам текст Саади (который до середины XIX века на известные Пушкину языки не переводился), а цитата из него в «Лалле Рук» Томаса Мура, цикле из трех восточных поэм, вставленных в прозаическую раму, – рассказ о путешествии прекрасной кашмирской принцессы Лаллы Рук в Бухару, где она должна стать женой царя. Во время одной из остановок путешественники отдыхают у фонтана, на котором, как пишет Мур, «чья-то рука грубо начертала хорошо известные слова из „Сада“ Саади». Амадей Пишо, автор французского перевода «Лаллы Рук», который должен был читать Пушкин, передал цитату так:

Plusieurs ont vu, comme moi, cette fontaine: mais ils sont loin et leurs yeux sont fermés à jamais¹⁴⁰.

[Букв. пер.: Многие видели, как и я, этот фонтан; но они далеко, и глаза их закрылись навсегда.]

Изречение в такой форме действительно очень похоже на эпиграф к «Бахчисарайскому фонтану» и без всякого сомнения явилось пушкинским источником. Однако в нем отсутствует риторическое острие формулы – сопоставительная конструкция «одни мертвы / другие отсутствуют», которая не только придала формуле афористичность, но и позволила после декабря 1825 года переосмыслить ее как намек на декабристов, повешенных или отправленных «далече», на каторгу¹⁴¹. Мы могли бы думать, что Пушкин просто заострил изречение, тем более что он сам гордился «меланхолическим эпиграфом» и говорил, что ценит его выше поэмы [XI: 159; XIII: 70], если б не находка Юрия Иваска, который нашел аналогичную конструкцию в стихотворении В. С. Филимонова «Друзьям отдаленным» («За чем я преплывал моря необозримы...», 1814): «Друзей – иных уж нет, другие в отдаленье»¹⁴². Хотя приятельские отношения Пушкина с Филимоновым установились только во второй половине 1820-х годов, вероятность того, что Пушкин знал «Друзьям отдаленным», весьма велика¹⁴³. Таким образом, у нас есть все основания считать пушкинскую формулу контаминацией изречения Саади в переложении Мура/Пишо с удачной строкой Филимонова¹⁴⁴.

¹³⁸ Бонди С. М. Из материалов редакции академического издания Пушкина // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. [Вып.] 2. М.; Л., 1936. С. 468.

¹³⁹ Там же.

¹⁴⁰ Moore Th. Lalla Roukh ou la princesse mogole, histoire orientale. Traduit de l' Anglais par le traducteur des œuvres de Lord Byron. T. 1. Paris, 1820. P. 205. Томашевский Б. В. Пушкин. Кн. 1: 1813–1824. М.; Л., 1956. С. 506. Ср. в английском оригинале: «Many, like me, have viewed this fountain, but they are gone <они ушли / их нет – А. Д.>, and their eyes are closed for ever!» (The Poetical Works of Thomas Moore. Complete in One Volume. Paris, 1829. P. 23; Библиотека Пушкина. С. 294. № 1189).

¹⁴¹ См. об этом: Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. С. 730.

¹⁴² Вестник Европы. 1815. Т. 83. № 18 (сентябрь). С. 88; Филимонов В. Проза и стихи. Ч. 2. М., 1822. С. 76. Иваск Ю. Философ в дурацком колпаке (Филимонов) // Опыты. 1958. № 8. С. 78; Pushkin A. Eugene Onegin / Transl. from the Russian, with a commentary, by V. Nabokov. II: Commentary and Index. P. 245 (второй пагинации).

¹⁴³ Аргументацию см. в заметке: Зубков Н. Н. О возможных источниках эпиграфа к «Бахчисарайскому фонтану» // Временник Пушкинской комиссии, 1978. Л., 1981. С. 111.

¹⁴⁴ Ср. Рак В. Д. Саади. С. 299.

Вопрос, однако, усложняется тем, что конструкция «одни мертвы / другие отсутствуют» встречается не только у Филимонова и Пушкина, но и у других авторов, античных и западноевропейских. Набоков, например, указал на вступление к поэме Байрона «Осада Коринфа», где поэт вспоминает друзей, некогда сопровождавших его в путешествии на Восток:

But some are dead, and some are gone,
And some are scatter'd and alone
<...>
And some are in a far countree...¹⁴⁵

[Букв. пер.: Но некоторые мертвы, некоторые уехали, / Некоторые разбросаны и одиноки / <...> / А некоторые находятся в далекой стране.]

В. Е. Ветловская нашла античную параллель: фразу из письма Цицерона его другу Луцию Месцинию Руфу, написанного во время гражданской войны в Риме. Отвечая на предложение Луция о встрече, Цицерон отвечал, что и в прежние времена, когда его окружали многие честные и приятные ему люди, не было никого, с кем бы он охотнее проводил время. «Но при нынешних обстоятельствах, – продолжал он, – когда **одни погибли, другие далеко**, а третьи изменили своим убеждениям, я, клянусь богом верности, охотнее проведу один день с тобой, нежели все это время с большинством тех, с кем я живу по необходимости»¹⁴⁶.

К сожалению, Ветловская неверно оценила значение своей находки и предприняла безуспешную попытку доказать, что формула «иных уж нет, а те далече» в «Евгении Онегине» скрывает тайную и политически опасную отсылку именно к сентенции Цицерона¹⁴⁷. На самом деле исследовательнице удалось обнаружить не скрытый подтекст формулы, а ранний пример «воспоминательного» топоса – то есть, согласно классическому определению Эрнста Роберта Курциуса, повторяющейся «интеллектуальной темы, пригодной для развития и модификации», которая возникает в риторике, но затем, превращаясь в клише, проникает и в другие жанры¹⁴⁸. На это указывает, в частности, употребление сходной конструкции в одном из писем Плиния-младшего, где он, вспоминая молодость и своих друзей-адвокатов, замечает: «Quidam ex iis qui tunc egerant, decesserunt; exsulant alii...» (букв. пер.: «Некоторые из тех, кто выступал в то время, мертвы; другие изгнаны»). Во французском переводе XVIII века, который мог

¹⁴⁵ Lord Byron. Selected Poems / Ed. with a Preface by S. J. Wolfson and P. J. Manning. Harmondsworth, Middlesex, 1996. P. 360 (Penguin Books); Pushkin A. Eugene Onegin / Transl. from the Russian, with a commentary, by V. Nabokov. II: Commentary and Index. P. 245 (второй пагинации). Как отметил О. А. Проскурин, эти строки не могли быть известны Пушкину ранее 1830 или 1831 года, так как вступление к «Осаде Коринфа» было впервые напечатано по-английски лишь в 1830 году (в приложении к жизнеописанию Байрона, составленному Томасом Муром), а в корпус поэмы включено еще два года спустя (Проскурин О. А. [Комментарии к «Бахчисарайскому фонтану»]. С. 309). В первый французский перевод книги Мура, который Пушкин читал в мае – июне 1830 года (см.: Долинин А. Пушкин и Англия. М., 2007. С. 31–32, примеч. 51), текст вступления не вошел. В другом ее переводе, вышедшем в 1831 году, соответствующие стихи читались так: «Mais les uns sont morts, les autres partis. Il y en a qui sont dispersés et solitaires dans ce monde <...> Quelques-uns sont dans de lointains pays...» (Œuvres complètes de Lord Byron... Traduction Nouvelle par M. Paulin. T. XI: Lettres de Lord Byron, et Mémoires sur sa vie, par Thomas Moore. Paris, 1831. P. 46).

¹⁴⁶ Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику, близким, брату Квинту, М. Бруту. Т. 2. М.; Л., 1950. С. 380. Ветловская В. Е. «Иных уж нет, а те далече...» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 12. Л., 1986. С. 116–117. Ср. начало фразы в оригинале и французском переводе en regard 1821 года: «hoc vero tempore, quum alii interierint, alii absint, alii mutati voluntate sint...»; «mais à présent, que les uns sont morts, les autres absents, et que d'autres enfin ont changé d'inclination...» (Œuvres complètes de M. T. Cicéron, traduites en français, avec le texte en regard / Éd. publiée par J.-V. Le Clerc... T. XV. Paris, 1821. P. 438, 440; 439, 441).

¹⁴⁷ Некоторые возражения против идей Ветловской см. в статье: Нольман М. Л. Саади или Цицерон? Об одной необоснованной замене // Творчество Пушкина и зарубежный Восток: Сборник статей. М., 1991. С. 219–228.

¹⁴⁸ Curtius E. R. European Literature and the Latin Middle Ages / Transl. from the German by W. R. Trask. Princeton University Press, 1990. P. 70–71 (Bollingen Series XXXVI).

знать Пушкин, фраза приобрела вид знакомой нам формулы: «Les uns sont morts, les autres sont bannis»¹⁴⁹.

Неудивительно, что следы топоса, освященного именами Цицерона и Плиния-младшего, обнаруживаются во французской литературе XVII–XVIII веков. Так, побежденный римлянами Митридат, герой одноименной трагедии Расина (1673), говорит о своих соратниках: «Les uns sont morts; la fuite a sauvé tout le reste»¹⁵⁰ (акт II, сц. 3; букв. пер.: «Одни мертвы, бегство спасло остальных»).

Кажется, мы можем точно указать и французский текст, от которого отталкивался Филимонов в «Друзьям отдаленным». Главным источником стихотворения, судя по всему, явился пассаж в последнем абзаце травелога «Путешествие на остров Маврикий, остров Бурбон, мыс Доброй Надежды и др.» (1773) – книги известного писателя-сентименталиста Бернардина де Сен-Пьера, прославившегося впоследствии романом «Поль и Виргиния». Завершая рассказ о своем африканском путешествии, Бернардин пишет о радостях и горестях возвращения домой из дальних странствий:

Heureux qui revoit les lieux où tout fut aimé, où tout parut aimable <...> Plus heureux qui ne vous a jamais quitté, toit paternel, asyle saint! Que de voyageurs reviennent sans trouver de retraite! **De leurs amis, les uns sont morts, les autres éloignés**, une famille est dispersée, des protecteurs... Mais la vie n'est qu'un petit voyage, et l'âge de l'homme un jour rapide¹⁵¹.

[Букв. пер.: Счастлив тот, кто вернулся в места, где все ему было мило, где все казалось приятным <...> Счастливее тот, кто никогда не покидал тебя – отчий кров, святой приют! Сколько путешественников возвращаются, не находя пристанища! Из их друзей **одни мертвы, другие далеко**, семья рассеяна, покровители... Но жизнь – это лишь короткое путешествие, а срок, нам отпущенный, – бысролетный час.]

Стих Филимонова «Друзей – иных уж нет, другие в отдаленье», как нетрудно заметить, представляет собой почти точную кальку с «De leurs amis, les uns sont morts, les autres éloignés»; кроме того, подобно Бернардину, поэт говорит о рассеянной семье («Как все вокруг меня переменялось! / Рассеян круг родства...»), а тема стихотворения, написанного в Германии (его подзаголовок: «Флотбек, дача близ Альтоны, 20 Мая 1814 года»¹⁵²), – тоска путешественника по родному краю и тем, кто ему мил, – перекликается с рассуждением, завершающим «Путешествие на остров Маврикий». Сам пытавшийся в молодые годы писать сентименталистскую прозу¹⁵³, Филимонов явно вдохновлялся травелогом Бернардина.

Мы не можем знать, насколько Пушкину была известна предыстория формулы, использованной Филимоновым, да это и не важно. Скрещивая ее с сентенцией Саади в транскрипции Мура/Пишо, он наверняка отдавал себе отчет, что имеет дело с топосом, и хотел «освежить» его. В этом смысле Пушкин, сам того не подозревая, поступал так же, как Байрон, «освеживший» топос во вступлении к «Осаде Коринфа». Что же касается ложной отсылки к Саади в «Евгении Онегине», то ее не следует принимать за чистую монету. Ею Пушкин

¹⁴⁹ Lettres de Pline le Jeune traduites par M. de Sacy / Nouvelle éd., revue et corrigée par J. Pierrot. T. I. Paris, 1826. P. 320–321. Библиотека Пушкина. С. 163. № 627 (соответствующие страницы разрезаны).

¹⁵⁰ Œuvres complètes de J. Racine... / 4e éd., publiée par L. Aimé-Martin. T. III. Paris, 1825. P. 37.

¹⁵¹ Voyage à l'isle de France, à l'isle de Bourbon, au Cap de Bonne Espérance, &c. Avec des Observations nouvelles sur la Nature et sur les Hommes, par un officier du Roi. T. 2. Amsterdam, 1773. P. 237–238.

¹⁵² Вестник Европы. 1815. Ч. 83. № 18. С. 87. В сборнике Филимонова «Проза и стихи» с другой датой: «Флотбек, дача близ Альтоны, 1814 года Мая 28» (Филимонов В. Проза и стихи. Ч. 2. С. 75).

¹⁵³ См. его отрывок из романа: Филимонов В. О любви в больших обществах. Письмо от Господина В*** к Графу Д*** // Вестник Европы. 1809. Ч. 48. № 22. С. 111–119.

лукаво отсылал читателя к самому себе или, вернее, к одной из своих литературных масок. Недаром Вяземский, цитируя в 1827 году вторую часть эпиграфа к «Бахчисарайскому фонтану» в «Московском телеграфе» с намеком на декабристов¹⁵⁴, предварил цитату словами: «... с грустью повторяю слова Сади (или Пушкина, который нам передал слова Сади)». Наверное, Вяземский понимал, что под маской Саади скрывался сам Пушкин.

¹⁵⁴ См. об этом: *Гиллельсон М. И.* Письмо А. Х. Бенкендорфа к П. А. Вяземскому о «Московском телеграфе» // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 3. М.; Л., 1960. С. 423–424.

ГЯУР ПОД МАСКОЙ ЯНЫЧАРА О СТИХОТВОРЕНИИ ПУШКИНА «СТАМБУЛ ГЯУРЫ НЫНЧЕ СЛАВЯТ»

Странное стихотворение «Стамбул гяуры нынче славят» (далее СГ) дошло до нас в двух вариантах (далее СГ-1830 и СГ-1835). Первый, более длинный, был написан в 1830 году в Болдино, остался незаконченным и при жизни Пушкина не публиковался:

Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой,
Как змия спящего, раздавят
И прочь пойдут и так оставят.
Стамбул заснул перед бедой.

Стамбул отрекся от пророка;
В нем правду древнего Востока
Лукавый Запад омрачил —
Стамбул для сладостей порока
Мольбе и сабле изменил.
Стамбул отвык от поту битвы
И пьет вино в часы молитвы.

Там веры чистый луч потух:
Там жены по базару ходят,
На перекрестки шлют старух,
А те мужчин в харемы вводят,
И спит подкупленный евнух.

Но не таков Арзрум нагорный,
Многодорожный наш Арзрум:
Не спим мы в роскоше позорной,
Не черплем чашей непокорной
В вине разврат, огонь и шум.

Постимся мы: струею трезвой
Одни фонтаны нас поят;
Толпой неистовой и резвой
Джигиты наши в бой летят.
Мы к женам, как орлы, ревнивы,
Харемы наши молчаливы,
Непроницаемы стоят.

Алла велик!
К нам из Стамбула
Пришел гонимый янычар —
Тогда нас буря долу гнула,
И пал неслыханный удар.

От Рушука до старой Смирны,
От Трапезунда до Тульчи,
Скликая псов на праздник жирный,
Толпой ходили палачи;
Треща в объятиях пожаров,
Валились дома янычаров;
Окровавленные зубцы
Везде торчали; угли тлели;
На кольях скорчась мертвецы
Оцепенелые чернели.
Алла велик. – Тогда султан
Был духом гнева обуян.

[III: 247–248]

В последней части текста речь идет о самом драматичном событии в новейшей истории Турции – подавлении султаном Махмудом II восстания янычаров в июне 1826 года и последующем полном уничтожении их могущественного войска. Как вспоминал русский посол в Стамбуле граф Рибопьер, казармы, где укрылись бунтовщики, «атаковали, и их там уничтожили: очень многих убили, некоторые разбежались по разным областям империи, где запрещено было даже называть их по имени»¹⁵⁵. Сочувствующий янычарам нарратор – арзрумский «фундаменталист» – вспоминает об этой расправе и начинает рассказ об одном из беглых янычаров, укrywшемся в Арзруме¹⁵⁶. Поскольку у нас нет никаких данных о том, как Пушкин

¹⁵⁵ Записки графа Александра Ивановича Рибопьера // Русский архив. 1877. Кн. II. Тетрадь 5. С. 33.

¹⁵⁶ Этот сюжет мог быть подсказан Пушкину двумя книгами о Турции, которые он, по всей вероятности, читал до или сразу после поездки в действующую армию во время турецкой кампании 1829 года (подробнее о них см. ниже). В «Путешествиях по Востоку» Виктор Фонтанье писал, что летом 1826 года он находился в Трапезунде, когда туда добрались первые беглецы-янычары из Стамбула, известившие местных жителей об ужасной резне, пожарах и казнях в столице (см.: *Fontanier V. Voyages en Orient, entrepris par ordre du Gouvernement Français, de l'année 1821 à l'année 1829. [Vol. II:] Turquie d'Asie. Paris, 1829. P. 25–26*). О гонимом янычаре, просившем помощи и убежища у христиан в предместье Стамбула, рассказывалось в книге английского путешественника Чарльза Макфарлейна (*Macfarlane C. Constantinople in 1828, a residence of sixteen months in the Turkish capital and Provinces: with an account of the present state of the naval and military power, and of the resources of the Ottoman Empire / 2nd ed. to which is added an appendix, containing remarks and observations to the autumn of 1829. Vol. II. London, 1829. P. 380–381*). Там же, кстати, упомянут брошенный на съедение собакам труп казненного (ср. у Пушкина: «Скликая псов на праздник жирный...»), напомнивший автору эпизод поэмы Байрона «Осада Коринфа» (ч. XVI), где рассказывается о поедании трупов псами. В примечании к эпизоду Байрон утверждал, что сам видел подобное зрелище под стеной константинопольского серая: «Тела принадлежали, вероятно, казненным бунтовщикам-янычарам» (*Byron G. G. Selected Poems / Ed. with a Preface by S. J. Wolfson and P. J. Manning. London; New York, 1996. P. 373 (Penguin Books)*). Некоторые исследователи ошибочно полагают, что в последней части СГ-1830 речь идет о подавлении бунта арзрумских янычаров (см., например: *Vickery W. N. «Sambul gjauri nynçe slavjat» // Alexander Puškin. Symposium II. Columbus, Ohio, 1980. P. 17–19; Кошелев В. А. Пушкин: История и предание. Очерки. СПб., 2000. С. 274*). На самом деле, как сообщает В. Фонтанье, в самом Арзруме бунта янычаров не было, так как местному паше удалось хитростью и красноречием убедить янычарский гарнизон подчиниться султану и перейти в его армию (*Fontanier V. Voyages en Orient. P. 66–68*). Пушкин отталкивался от описаний стамбульской резни, которыми изобиловала литература о Турции. Так, подожженные дома янычаров в Стамбуле упоминались в переводной статье «Взгляд на внутреннее состояние Турецкой Империи (Из British Chronicle)», напечатанной в «Вестнике Европы»: «Султан велел зажечь длинные ряды жилищ янычарских и запретил тушить пламень; развалины их стоят доныне как памятники проклятия и мщения ужасного» (1829. Ч. 166. № 11. С. 239). Особенно яркими подробностями отличалась переведенная на русский язык книга француза Шарля Деваля, очевидца событий. Он рассказал не только о гибели янычаров от огня и картечи во время восстания, но и о последующих репрессиях. Великий Визирь, окруженный палачами, писал он, расположился на дворе одной из мечетей. Всех схваченных янычаров и их сторонников влекли туда и предавали казни: «Сие ужасное убийство продолжалось с лишком две недели. <...> Более тысячи человек погибало ежедневно разными казнями. Руки палачей утомились и уныние было в высочайшей степени». Через несколько дней Деваль пошел посмотреть на то место, где происходила резня: «Никогда не видал я отвратительнейшего зрелища. Развалины главной казармы еще дымились, посреди их валялись трупы, испускавшие отвратительное зловоние. <...> Собаки, ястребы и коршуны оспаривали друг у друга трупы» ([Деваль III.] Два года в Константинополе и Морее (1825–1826), или Исторические очерки Махмуда, Янычар, новых войск, Ибрагима-Паши, Солиман-Бея, и проч. / Пер. с французского А. О. СПб., 1828. С. 125–130).

собирался развивать этот сюжет, приходится признать, что о замысле, общей идее и жанре СГ-1830 мы не в состоянии сказать ничего определенного.

В 1835 году Пушкин вернулся к незаконченному тексту, переменял в нем несколько стихов, отрезал последнюю часть и вставил его в пятую главу «Путешествия в Арзрум» с мистифицирующим предисловием:

Нововведения, затеваемые султаном, не проникли еще в Арзрум. Войско носит еще свой живописный, восточный наряд. Между Арзрумом и Константинополем существует соперничество как между Казанью и Москвою. Вот начало сатирической поэмы, сочиненной янычаром Амином-Оглу.

Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой,
Как змия спящего, раздавят,
И прочь пойдут – и так оставят.
Стамбул заснул перед бедой.
Стамбул отрекся от пророка;
В нем правду древнего Востока
Лукавый Запад омрачил.
Стамбул для сладостей порока
Мольбе и сабле изменил.
Стамбул отвык от поту битвы
И пьет вино в часы молитвы.
В нем веры чистый жар потух.
В нем жены по кладбищам ходят,
На перекрестки шлют старух,
А те мужчин в харемы вводят,
И спит подкупленный евнух.
Но не таков Арзрум нагорный,
Многодорожный наш Арзрум;
Не спим мы в роскоши позорной,
Не черпем чашей непокорной
В вине разврат, огонь и шум.
Постимся мы: струею трезвой
Святые воды нас поят:
Толпой бестрепетной и резвой
Джигиты наши в бой летят.
Харемы наши недоступны,
Евнухи строги, неподкупны
И смирно жены там сидят.

[VIII: 478–479]

В. А. Жуковский напечатал СГ-1830 в девятом томе «Сочинений Александра Пушкина» под названием «Начало поэмы», данным стихотворению, вероятно, по фразе из «Путешествия в Арзрум»: «Вот начало сатирической поэмы». Сразу же после СГ-1830 помещен черновой незаконченный набросок «Кромешник» («Какая ночь! мороз трескучий...», 1827), где описана московская площадь после казни в годы опричнины. По-видимому, Жуковский хотел обратить внимание читателей на сходство четырех стихов в соседствующих текстах:

СГ-1830

Окровавленные зубцы
Везде торчали; угли тлели
На кольях скорчась мертвецы
Оцепенелые чернели.

«Кромешник»

Торчат железные зубцы
С костями груди пепла тлеют,
На кольях, скорчась, мертвецы
Оцепенелые чернеют.

[III: 60]

Вариант, напечатанный Жуковским, имел некоторые отличия от дошедшего до нас автографа (по которому СГ-1830 с конца XIX века печатается в собраниях сочинений Пушкина), что, по мнению П. В. Анненкова, доказывало «существование другого, чистого оригинала, не находящегося в бумагах поэта»¹⁵⁷. Сам Анненков в «Сочинениях Пушкина» дал контаминированную редакцию СГ-1830 без названия. «Это совсем не Начало поэмы, – писал он в примечании, – а <...> стихотворение, порожденное случаем, и при том это черновой оригинал той самой пьесы, которую Пушкин в 1836 году поместил в своем путешествии в Арзрум, приписав ее там выдуманному лицу – Янычару Амин-Оглу. <...> по энергии стиха и выражения, этот первый очерк чуть ли не выше последующей переделки, и конечно мрачная картина, представляемая окончательной строфой, никак не заслуживала исключения, какому подверг ее Пушкин»¹⁵⁸.

В довольно обширной литературе о СГ нередко повторяются одни и те же ошибки. Исследователи, как правило, не делают различий между двумя версиями стихотворения, относя мистифицирующее предведение из «Путешествия в Арзрум» к СГ-1830, а аллюзии на расправу над янычарами – к СГ-1835. Между тем отсутствие упоминаний о ликвидации янычаров и введение маски автора в СГ-1835 меняют временную перспективу повествования. Если безымянный нарратор СГ-1830 выступает со своими обличениями столичных нравов **после** событий 1826 года (ср.: «**Тогда** нас буря долу гнула»; «**Тогда** султан / Был духом гнева обуян»), то для СГ-1835 подобная временная локализация оказывается невозможной. Приписывая «начало сатирической поэмы» **янычару** Амин-Оглу (единственное в «Путешествии в Арзрум» употребление слова, которое, как мы помним, было в 1826 году запрещено султаном), Пушкин относит его обличительный монолог к неопределенному прошлому, когда янычары еще благоденствовали и открыто выражали недовольство модернизационными нововведениями султана и его сближением с «гяурами».

Кроме того, о СГ-1830 без всяких на то оснований часто говорят как о законченном тексте. Еще Н. И. Черняев в конце XIX века утверждал, что «трудно себе представить что-либо законченнее», чем это стихотворение¹⁵⁹. Как ни странно, его точку зрения разделяют и некоторые современные ученые, не обращающие внимания на очевидный обрыв только начатого рассказа о беглом янычаре, который явно требует продолжения. Даже В. А. Кошелев, исходящий из верной посылки о принципиальных различиях между СГ-1830 и СГ-1835, полагает, что оба варианта суть «*вполне законченные произведения*»¹⁶⁰.

¹⁵⁷ Сочинения Пушкина. Т. II. СПб.: П. В. Анненков, 1855. С. 542. Гипотезу Анненкова о том, что Жуковский пользовался неизвестным нам беловым автографом СГ-1830, более века спустя повторил Н. К. Гудзий. См. его работу: *Гудзий Н. К.* К вопросу о пушкинских текстах: О посмертном издании сочинений Пушкина // Проблемы современной филологии. М., 1965. С. 378–386. Доказать или опровергнуть эту гипотезу не представляется возможным.

¹⁵⁸ Сочинения Пушкина. Т. II. С. 542–543.

¹⁵⁹ Черняев Н. И. Критические статьи и заметки о Пушкине. Харьков, 1900. С. 7.

¹⁶⁰ Кошелев В. А. Историософская оппозиция «Запад – Восток» в творческом сознании Пушкина // Кошелев В. А. Пушкин: История и предание. Очерки. С. 274 (курсив автора). Первая публикация этой работы: Русская литература. 1994. № 4. С. 3–16.

Текстологически обосновать тезис о завершенности СГ-1830 попытался американский ученый У. Викери, но его аргументация основана на недоразумении. Он считает, что беловой автограф стихотворения (ПД 917)¹⁶¹ заканчивается многоточием (подобно таким произведениям Болдинского периода, как «Герой» или «Для берегов отчизны дальней...»), и, следовательно, речь может идти о недосказанности, которая отнюдь «не равняется незавершенности»¹⁶². На самом же деле рукопись заканчивается не точками, а тремя звездочками (*de visu*) – то есть знаком разделения строф, указывающим, что Пушкин предполагал продолжить текст по крайней мере еще одной частью.

Критика XIX века видела в СГ-1830 пример пушкинского протеизма, его способности перевоплощаться в людей других времен, народов и конфессий, – замечательный ориенталистский пастиш, стоящий в одном ряду с «Подражаниями Корану». Еще Белинский отметил, что стихотворение «как будто написано турком нашего времени»¹⁶³. Эту мысль развил Н. Черняев, писавший:

Каждый стих этого превосходного стихотворения проникнут чисто турецким религиозно-национальным фанатизмом, чисто турецкой гордостью, самоуверенностью, воинственностью, чувственностью и апатией <...> как бесподобно передал поэт все самые сокровенные помыслы завязтого турка, нетронутого европейской цивилизацией»¹⁶⁴.

В советское время СГ-1830 начали читать как политическую аллегория с несколькими замаскированными русскими проекциями. Первым подобное прочтение предложил Д. Д. Благой в ранней книге «Социология творчества Пушкина»¹⁶⁵. Ключом ему послужила хитрая фраза из «Путешествия в Арзрум»: «Между Арзрумом и Константинополем существует соперничество как между Казанью и Москвою». Поскольку никакого соперничества между Москвой и Казанью русская культура со времен Ивана Грозного не знала, Благой справедливо усмотрел здесь намек на действительно важную для Пушкина (и всей русской культуры) антитезу «Москва – Петербург», а в стихотворении – завуалированное рассуждение о конфликте «между двумя русскими городами – „главным городом“ старой „Азиатской России“ – гнездом „закоренелой старины“, „упрямого сопротивления“ нововведениям Петра I – и новой приморской столицей, явившейся опорой этих нововведений»¹⁶⁶. Оно напомнило исследователю как «Мою родословную», тоже написанную в Болдинскую осень, с ее темой противостояния древней русской аристократии реформам Петра, так и пассаж в «Путешествии из Москвы в Петербург», где соперничество между Москвой и Петербургом отнесено к прошлому¹⁶⁷.

¹⁶¹ Автограф № 917 в: Рукописи Пушкина, поступившие в Пушкинский дом после 1937 года. Краткое описание. М.; Л., 1964. С. 21.

¹⁶² Vickery W. N. Стихотворение «Стамбул гяуры нынче славят» и ирония судьбы // *Revue des études slaves*. Т. 59. Fascicule 1–2. Alexandre Puškin 1799–1837. Paris, 1987. P. 329.

¹⁶³ Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1955. Т. 7. С. 353.

¹⁶⁴ Черняев Н. И. Критические статьи и заметки о Пушкине. С. 4.

¹⁶⁵ Благой Д. Д. Социология творчества Пушкина. Этюды / 2-е изд., доп. М., 1931. С. 193–196.

¹⁶⁶ Там же. С. 194.

¹⁶⁷ Ср.: «Некогда соперничество между Москвой и Петербургом действительно существовало. Нечтогда в Москве пребывало богатое, неслужащее боярство, вельможи оставившие двор, люди независимые, беспечные, страстные к безвредному злоречию и к дешевому хлебосольству; некогда Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое из всех провинций съезжалось в нее на зиму. Но куда девалась эта шумная, праздная, беззаботная жизнь? Куда девались балы, пиры, чудачки и проказники – всё исчезло <...> *Горе от ума* есть уже картина обветшала, печальный анахронизм. Вы в Москве уже не найдете ни Фамусова, который *всякому, ты знаешь, рад* — и князю Петру Ильичу, и французу из Бордо, и Загорецкому, и Скалозубу, и Чацкому; ни Татьяны Юрьевны <...> Хлестова в могиле; Репетилов в деревне. Бедная Москва!..Петр I не любил Москвы, где на каждом шагу встречал воспоминания мятежей и казней, закоренелую старину и упрямое сопротивление суеверия и предрассудков. Он оставил Кремль, где ему было не душно, но тесно; и на дальнем берегу Балтийского моря искал досуга, простора и свободы для своей мощной и беспокойной деятельности. После него, когда старая наша аристократия возымела свою прежнюю силу и влияние, Долгорукие чуть было не возвратили Москве своих государей; но смерть моло-

Проекция турецких реалий на русскую историю, полагает Благой, объясняется тем, что султан-реформатор Махмуд II, пытавшийся провести в Турции вестернизационные реформы, составлял прямую параллель Петру I, а недовольные модернизацией янычары – поднявшим бунт стрельцам и, шире, «древней русской аристократии», с которой боролся как Петр, так – задолго до него – Иван Грозный. На то, что Пушкин имел в виду не только Петра, но и Ивана Васильевича, по мнению Благого, указывало отмеченное выше совпадение четырех стихов СГ-1830 с «Кромешником», в чем критик увидел автоцитату, отсылающую к соответствующей эпохе в истории России, хотя на самом деле мы имеем дело с типичной для Пушкина поэтической «экономией» (в том смысле, какой вкладывал в это понятие В. Ф. Ходасевич).

В то же время, как полагал Благой, «в самом Пушкине турецкий бунт должен был оживлять другие, более близкие воспоминания. Бунт янычар произошел ровно через полгода после восстания декабристов – в ночь с 14 на 15 июня 1826 года. Мало того, самый ход этого бунта до поразительного напоминает выступление декабристов на Сенатской площади. <...> Уцелевший в разгроме декабризма поэт-Арион не зря влагает их <стихи. – А. Д.> в уста „гонимого янычара“, уцелевшего в страшной катастрофе...»¹⁶⁸

Впоследствии Благой более осторожно писал лишь о том, что в сознании Пушкина, возможно, возникали аналогии между восстанием янычар и стрелецким бунтом против Петра¹⁶⁹. Другие предложенные им параллели, однако, были в 1980-е годы реанимированы в либеральном духе М. И. Гиллельсоном и Н. Я. Эйдельманом¹⁷⁰.

Американский пушкинист У. Викери, посвятивший СГ-1830 три статьи, согласился с тем, что Пушкин осознавал все четыре русские параллели, замеченные советскими исследователями (подавление стрелецкого бунта, расправа Ивана Грозного с боярами, восстание декабристов и упадок древних боярских родов), но пришел к выводу, что они «не продвигают наше понимание пушкинской эстетики»¹⁷¹. Главным в стихотворении он считал трагическую иронию, с которой Пушкин представляет исламский фатализм.

Новые, неопочвеннические интерпретации СГ были предложены в 1990-е годы В. А. Кошелевым и В. С. Листовым. Согласно В. А. Кошелеву, стихотворение имеет «предельно четкую» идею: «...нарушение естественной жизни какого-либо социума (в данном случае Турции, верной „правде древнего Востока“) приводит к кровавым потрясениям, за которыми не следует ничего хорошего: именно „западническая“ политика Махмуда II и привела в конечном счете к русско-турецкой войне, начавшейся через два года после разгрома янычар и проигранной Махмудом...»¹⁷²

Интерпретация В. С. Листова опирается не столько на текст, сколько на не вполне разборчивую помету, сделанную Пушкиным над беловым автографом СГ-1830: «17 окт. 1830 Предч. <?> разб. ст.» [П: 857, 1219]¹⁷³. Обратив внимание на то, что 17 октября по церковному

дого Петра II-го снова утвердила за Петербургом его недавние права. Упадок Москвы есть неминуемое следствие возвышения Петербурга. Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же государстве, как два сердца не существуют в теле человеческом. Но обеднение Москвы доказывает и другое: обеднение русского дворянства, происшедшее *частию* от раздробления имений, исчезающих с ужасной быстротою, *частию* от других причин, о которых успеем еще потолковать» <курсив автора. – А. Д.> [XI: 245–247].

¹⁶⁸ Благой Д. Д. Социология творчества Пушкина. С. 196. Обратим внимание на ошибку Благого, спутавшего календарные стили. По григорианскому календарю восстание декабристов произошло 26 декабря, а восстание янычаров – 15 июня.

¹⁶⁹ Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина, 1826–1830. М., 1967. С. 522.

¹⁷⁰ Гиллельсон М. И. Пушкинский «Современник» // Современник: Литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. Приложение к факсимильному изданию. М., 1987. С. 16–17; Эйдельман Н. Я. «Быть может за хребтом Кавказа» (Русская литература и общественная мысль первой половины XIX в. Кавказский контекст). М., 1990. С. 200–202.

¹⁷¹ Vickery W. N. Стихотворение «Стамбул гяуры нынче славят» и ирония судьбы. Р. 332.

¹⁷² Кошелев В. А. Историческая оппозиция «Запад – Восток» в творческом сознании Пушкина. С. 288–289.

¹⁷³ Сокращения после даты многократно привлекали внимание исследователей, которые предлагали различные чтения и расшифровки, принять которые не представляется возможным. П. В. Анненков читал помету как «Предъ разб. ст.» (Сочинения Пушкина. Т. II. С. 543), что, по его мнению, означало «Перед разбитой статуей» ([Анненков П. В.] Материалы для био-

календарю – это день памяти библейского пророка Осии, Листов нашел в стихотворении некоторые отдаленные тематические переклички с обличениями и пророчествами «Книги Осии», в которой предсказывается гибель Самарии, восставшей против Бога¹⁷⁴. Тем самым, считает он, СГ-1830 приобретает черты профетического текста, предрекающего богооставленному Стамбулу, за которым угадывается богооставленный Петербург, печальную судьбу древнего города грешников и вероотступников.

Никто из писавших о СГ-1830 и СГ-1835 не задался вопросом о возможных источниках стихотворения, из которых Пушкин мог почерпнуть сведения о состоянии дел и умонастроениях в современной ему Турции. Единственное исключение составляет специальная работа Д. И. Белкина, указавшего несколько статей о Турецкой империи (в основном переводных) в русских журналах 1826–1830-х годов, которые могли быть известны Пушкину, хотя никаких прямых мотивных параллелей к тексту он в этих статьях не обнаружил¹⁷⁵. Вне поля зрения исследователя остались многочисленные книги о Турции западных путешественников и дипломатов – то есть тех самых «гяуров», которые, по пушкинскому исламисту, «славили Стамбул» и замыслили его погубить. В каталоге библиотеки Пушкина значатся три такие книги, причем все они вышли в свет до 1830 года. Это «Путешествия на Восток» француза Виктора Фонтанье (с более поздней книгой которого Пушкин, как известно, полемизировал в предисловии к «Путешествию в Арзрум»)¹⁷⁶, франкоязычные «Очерки турецких нравов XIX столетия» стамбульского грека Григория Палеолога, написанные в форме диалогов или драматических сценок¹⁷⁷, и русский перевод «Путешествия по Турции» ирландского священника Роберта Уолша, капеллана британского посольства в Стамбуле¹⁷⁸. Кроме того, в пушкинской библиотеке была злая русофобская книжка Шарля Нийон-Жильбера (французского эмигранта-бонапартиста, прожившего восемь лет в Петербурге), в которой большая глава посвящена сравнению двух

графии Ал. Пушкина / Сочинения Пушкина. Т. I. С. 310). Д. Благой понял первую аббревиатуру как «Предп.», а всю помету – как запись для памяти: «Предпослать разбор стихов» (*Благой Д. Д.* Социология творчества Пушкина. С. 306–307, примеч. 47). У. Викери в специальной статье связал сокращения с центральной темой первой строфы СГ-1830 – ожиданием гибели Стамбула в наказание за отказ от «правды древнего Востока». По его предположению, помета должна читаться как «Предчувствие (предчувствует) разбития(е) столицы» (*Викери У.* Загадочная помета Пушкина // *Временник Пушкинской комиссии* 1977. Л., 1980. С. 91–95). Викери возражала Р. Е. Теребенина, указавшая, что помета явно была сделана после заполнения по крайней мере одного листа рукописи и потому едва ли имеет отношение к идее стихотворения. «По местоположению и характеру, – справедливо отмечает она, – ...это типичная для поэта помета о событиях, фактах или состоянии, сопутствующих созданию произведения» (*Теребенина Р. Е.* Пометы Пушкина на рукописях // *Временник Пушкинской комиссии* 1977. С. 97). Однако предложенные ею варианты расшифровки («Предчувствие разбор статей», «Предчувствие разбитое стекло» и т. п.) не кажутся убедительными. С. А. Фомичев поддержал расшифровку Викери, но отнес помету не к стихотворению, а к приезду Пушкина в Петербург после ссылки 17 октября 1827 года (*Фомичев С. А.* Служенье муз: О лирике Пушкина. СПб., 2001. С. 152–153); Я. Л. Левкович предложила новое чтение: «Прозр. <?> разб. ст.», полагая, что Пушкин имел в виду «Опровержение на критики», назвав его «Прозаический разбор статей» (*Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений. Т. XVII (дополнительный). Рукою Пушкина. Выписки и записки разного содержания. Официальные документы / Изд. 2-е, переработанное. Отв. ред. Я. Л. Левкович, С. А. Фомичев. М., 1997. С. 282–284). Боюсь, загадка пометы так навсегда и останется неразгаданной.

¹⁷⁴ Листов В. С. [1] К истолкованию стихотворения Пушкина «Стамбул гяуры нынче славят...» // *Известия РАН. Серия литературы и языка*. 1996. Т. 55. № 6. С. 41–46; [2] Новое о Пушкине. М., 2000. С. 196–201.

¹⁷⁵ См.: *Белкин Д. И.* О комментариях к стихам «Стамбул гяуры нынче славят...» // *Болдинские чтения* [1982]. Горький, 1983. С. 119–128.

¹⁷⁶ *Fontanier V.* Voyages en Orient (*Библиотека Пушкина*. С. 233. № 919). О полемике Пушкина с Фонтанье см.: *Долинин А.* Пушкин и Виктор Фонтанье // *Европа в России*. М., 2010. С. 105–124.

¹⁷⁷ *Esquisses des mœurs turques au XIXe siècle; ou scènes populaires, usages religieux, cérémonies publiques, vie intérieure, habitudes sociales, idées politiques des mahométans, en forme de dialogues, par Grégoire Palaiologue, né à Constantinople.* Paris, 1827 (*Библиотека Пушкина*. С. 305. № 1236). Русский перевод главы из этой книги, в которой речь идет об уничтожении янычаров и формировании новой армии по западным образцам, печатался под названием «Турецкие нравы в XIX веке» в «Сыне отечества» (1828. Ч. 120. № 14. С. 151–161).

¹⁷⁸ Путешествие по Турции из Константинополя в Англию чрез Вену. Соч. Р. Вальша, бывшего при английском посланнике, Лорде Странгфорде. Перевел с французского С. де-Шаплет. СПб., 1829 (*Библиотека Пушкина*. С. 18. № 61). Оригинал: *Walsh R.* Narrative of a Journey from Constantinople to England. London, 1828. Эта же книга была доступна и в французском переводе: *Walsh R.* Voyage en Turquie et à Constantinople. Traduits de l'Anglais. Paris, 1828.

империй – Российской и Османской (не в пользу первой)¹⁷⁹. Можно предположить также, что Пушкин должен был знать по крайней мере еще две книги о Турции, весьма популярные как в Европе, так и в России: упомянутые выше «Два года в Константинополе и Морее» француза Шарля Деваля, тут же переведенные на русский язык¹⁸⁰, и записки англичанина Чарльза Макфарлейна, доступные и во французском переводе¹⁸¹.

При просмотре западной и русской литературы 1820–1830-х годов о Турции сразу выясняется, что параллель между Махмудом II и Петром Великим, о которой говорил Благой, была тогда общим местом. Это «нелепое сравнение <...> теперь в большой моде почти у всех писателей», – сетовал в обзоре западной ориенталистики О. И. Сенковский со свойственным ему скепсисом по отношению к общепринятому¹⁸². Уже в 1826 году, то есть сразу после разгрома янычаров, знаменитый аббат де Прадт обсуждал вопрос о том, сможет ли Махмуд стать турецким Петром и провести модернизационные реформы¹⁸³. Если верить Н. Н. Муравьеву-Карсскому – посланнику русского правительства в Турции и Египте во время турецко-египетского конфликта 1832–1833 годов, неоднократно встречавшемуся с султаном, – сам Махмуд, «ослепляясь названием преобразователя, охотно сравнивает себя с Петром I и даже донныне уверен, что шествует по стезям сего великого государя»¹⁸⁴. «Султан-Махмуд, – говорил Муравьеву Николай I, – корчит Петра Великого, да неудачно...»¹⁸⁵.

Прежде всего современники обращали внимание на то, что в обеих империях проведению реформ сопутствовало жестокое подавление восставших против монарха «преторианцев» – соответственно, стрельцов и янычаров. «Нынешний султан, – писал Роберт Уолш, – во многих отношениях похож на Петра Великого: та же решимость в начинаниях, та же энергия в осуществлении задуманного, та же неумолимая безжалостность в достижении любой цели. Подобно Петру Великому, Махмуд не мог более терпеть господствующее положение своей преторианской гвардии и решился избавиться от янычаров так же, как Петр избавился от стрельцов»¹⁸⁶. Аналогичные сравнения есть у Фонтанье¹⁸⁷, у Деваля¹⁸⁸ и у ряда других, менее известных путешественников¹⁸⁹.

¹⁷⁹ Niellon-Gilbert C. La Russie ou Coup d'œil sur la situation actuelle de cet Empire. Paris, 1828. P. 150–165 (*Библиотека Пушкина*. С. 299. № 1214).

¹⁸⁰ [Deval C.] Deux années à Constantinople et en Morée (1825–1826), ou Esquisses historiques sur Mahmoud, les Janissaires, les nouvelles troupes, Ibrahim-Pasha, Soliman-Bey, etc. par M. C... D... Paris, 1828. Русский перевод фрагментов: Два года в Константинополе и Морее (1825–1826), или Исторические заметки о Султанах Махмуде, Янычарах, новых Турецких войсках, Ибрагиме Паше, Солимане Бее, и пр. Сочин. С. Д. (Отрывки) // Сын отечества. 1828. Ч. 117. № 2. С. 208–217; № 3. С. 301–308; № 4. С. 389–402; Ч. 118. № 5. С. 36–61. [С фр. С.—вь]; Султан Махмуд и Турция // Московский телеграф. 1828. Ч. 21. № 10. С. 333–340. Полный русский перевод: Два года в Константинополе и Морее... (см. примеч. 2).

¹⁸¹ Macfarlane C. Constantinople in 1828. Французский перевод: Constantinople et la Turquie en 1828 et 1829, par Charles Mac-Farlane; traduit de l'anglais par MM. Nettement: 3 tomes. Paris, 1830. Отрывки из книги печатались в «Вестнике Европы» под заглавием «Султан Махмуд»: 1830. Ч. 170. № 2. С. 152–161; № 3. С. 204–211.

¹⁸² [Сенковский О. И.] Способности и мнения новейших путешественников по Востоку // Библиотека для чтения. 1835. Т. XIII. Отд. 3. С. 136.

¹⁸³ Abbé de Pradt. L'Europe par rapport à la Grèce et à la réformation de la Turquie. Paris, 1826. P. 118–121, 124–149.

¹⁸⁴ Муравьев (Карсский) Н. Н. Дела Турции и Египта в 1832 и 1833 годах. Т. I: Военное и политическое состояние. М., 1869. С. 11.

¹⁸⁵ Русские на Босфоре в 1833 году. Из записок Н. Н. Муравьева (Карсского). М., 1869. С. 10.

¹⁸⁶ Walsh R. Narrative of a Journey from Constantinople to England. P. 63. Walsh R. Voyage en Turquie et à Constantinople. Traduits de l'Anglais. P. 58. В русском переводе этот пассаж отсутствует.

¹⁸⁷ Voyages en Orient. P. 27.

¹⁸⁸ [Deval C.] Deux années à Constantinople et en Morée. P. 107. В полном русском переводе сравнение Махмуда с Петром отсутствует, хотя во фрагментах, напечатанных в «Сыне отечества», оно было сохранено. Ср.: «Как, за сто двадцать лет пред тем, Петр Великий уничтожил стрельцов; так и в наши времена Могамед-Али в несколько часов истребил целое войско Мамемлюков» (Сын отечества. 1828. Ч. 117. № 3. С. 302).

¹⁸⁹ См., например: Itinéraire de Tiflis à Constantinople par le Colonel Rottiers. Bruxelles, 1829. P. 360; Cornille H. Souvenirs d'Orient: Constantinople – Grèce – Jerusalem / 2e éd. Paris, 1836. P. 86–87.

Ужасаясь варварской жестокости, с которой Махмуд изничтожил янычаров, некоторые авторы склонны были оправдывать его действия политической необходимостью. Так, например, граф Рибопьер свидетельствовал:

Султан Махмуд, которого в Европе считают злым и кровожадным тираном, был в сущности добрейший человек. <...> Беспрестанные мятежи, убийства, которых он был свидетелем, <...> убедили его в том, что дикий разгул янычар несовместим с его собственной властью и независимостью. <...> Султану предстоял выбор между собственной погибелью и уничтожением неукротимого войска. Он не задумался и хорошо сделал. Это был первый шаг по той стезе реформ и образований, по коей мечтал идти Махмуд, следуя примеру Петра Великого, которого осмелился взять себе в образец. Это-то строгое, но необходимое решение распространило по Европе славу свирепости, которой Махмуд собственно вовсе не заслуживал¹⁹⁰.

«Расправа над янычарами вызывает ужас, – писал Фонтанье, – но поскольку янычары препятствовали прогрессу и просвещению, о них не стоит жалеть»¹⁹¹. Аналогичную мысль высказывал и Нийон-Жильбер, предлагавший критикам Махмуда вспомнить о жестокости Петра I, которого вся Европа признает великим государем. «Разве московский монарх уступал в жестокости султану? – спрашивал он. – Последний лишь отдавал приказы о казнях, тогда как Петр унизил царское достоинство, играя роль одновременно судьи и палача. Он соревновался со своими приближенными в том, кто отрубит больше голов виноватым. Если столь ужасная резня может иметь положительные последствия, то нужно пожелать туркам, чтобы кровь янычаров скрепила фундамент их цивилизации прочнее, чем кровь стрельцов, скрепившая возрождение России»¹⁹².

Как известно, реформы Махмуда II, пытавшегося, по слову современника, «привить просвещение к утлону пню Исламизма»¹⁹³, затронули многие стороны турецкой жизни: не только армию и флот, где прежде всего были введены новые порядки на западный манер, но и государственное управление, финансы, образование, медицину, культуру, быт¹⁹⁴. Западные путешественники и дипломаты («гяуры») в основном приветствовали нововведения Махмуда («славили Стамбул»), хотя видели их непоследовательность и ограниченный характер. Уолш, например, отмечает, что Махмуд привил оспу своим детям «и показал чрез то, что намерен заимствовать от европейцев и другие улучшения, кроме тех, которые собственно относятся к военному искусству»¹⁹⁵. Макфарлейн, посетивший Стамбул во время русско-турецкой войны, пишет, что модернизация пока еще находится в самой начальной стадии, но это дает надежды на скорые изменения к лучшему в военной подготовке, управлении и нравах. Среди многочисленных (хотя, по его мнению, неглубоких) улучшений он отмечает большую толерантность по отношению к иностранцам-христианам¹⁹⁶, привлечение военных советников из Западной Европы, распространение европейской музыки и европейской одежды¹⁹⁷, более свободное поведение женщин в общественных местах Стамбула¹⁹⁸.

¹⁹⁰ Записки графа Александра Ивановича Рибопьера. С. 32–33.

¹⁹¹ Voyages en Orient. P. 30–31.

¹⁹² Niellon-Gilbert C. La Russie ou Coup d'œil sur la situation actuelle de cet Empire. P. 158–159.

¹⁹³ Настоящее состояние и будущность Оттоманской Империи (Westminster Review) // Телескоп. 1833. Ч. 16. № 16. С. 552.

¹⁹⁴ О реформах Махмуда см.: Боджолан М. Т. Реформы 20–30-х гг. XIX века в Османской империи. Ереван, 1984; Lewis B. The Emergence of Modern Turkey / 3rd ed. New York, Oxford, 2002. P. 78–106; Wheatcroft A. The Ottomans. London, New York, 1993. P. 167–183.

¹⁹⁵ Путешествие по Турции из Константинополя в Англию чрез Вены. С. 81–82; Walsh R. Narrative of a Journey from Constantinople to England. P. 77.

¹⁹⁶ Macfarlane C. Constantinople in 1828. Vol. II. P. 206–207.

¹⁹⁷ Ibid. P. 172–173. На должность придворного капельмейстера Махмуд пригласил итальянца, брата знаменитого оперного

То, что просвещенному европейцу кажется сдвигом в лучшую сторону, признаком прогресса и обновления, с точки зрения фундаменталистского сознания есть преступное вероотступничество и повреждение нравов. Народное недовольство реформами султана Махмуда II, особенно в провинциях азиатской Турции – этом «палладиуме Исламизма», по определению Ф. В. Булгарина¹⁹⁹, – многократно отмечалось в известной Пушкину литературе. Макфарлейн свидетельствует, что число турок, недовольных нововведениями, в 1828–1829 годах было еще очень велико. Исламисты распространяли разные слухи о прегрешениях Махмуда и, в частности, о том, что он «пьет вино, часто неумеренно»²⁰⁰. Виктор Фонтанье приводит монолог хозяина провинциальной кофейни, который так объясняет ему положение в стране: «Султан Махмуд, наш повелитель, больше не хочет янычаров. <...> Султан Махмуд стал неверным; он перенял от неверных их обычаи и занятия; говорят, что он учредил карантин, как будто судьба уже более ничего не значит!»²⁰¹

Характерное для фанатичных мусульман-староверов неприятие нового, соединенное с ксенофобией, хорошо изображено в драматических сценах Григория Палеолога. В самой первой из них появляется некий имам, который, подобно пушкинскому нарратору, предвещает Турции страшную катастрофу. «Ныне мы игрушки в руках неверных; они делают с нами все, что им угодно, – пугает он своих собеседников. – <...> Каждый день нам отменяют несколько наших древних обычаев, несколько наших законов, освященных многими веками и утвердившихся благодаря множеству наших побед. Не знаю для чего, но нам мало-помалу навязывают отвратительные привычки чужих стран. Все переменялось, все изменяется в нашей империи. <...> Разложение проникло и в народ. Все правила, все заповеди великого Пророка растоптаны. В наши дни приходится видеть, что правоверные не брезгуют азартными играми. Люди не только пренебрегают молитвой, а нередко и постом – они перестали воздерживаться от спиртного, что строго-настрого запрещено Магометом. Наконец, поверите ли вы, я видел, как мусульмане едят свинину!»²⁰²

Другие персонажи у Палеолога жалуются на неприличное поведение современных турчанок, кокетничающих с иностранцами, а сами турчанки рассказывают друг другу истории о том, как им удастся проводить в гарем любовников под носом у нерадивых евнухов²⁰³.

Бывшим янычарам, пострадавшим от султана и негодующим по поводу перемен, Палеолог посвящает отдельную сцену. Текущие события в ней обсуждают Ибрагим, который сохранил себе жизнь, записавшись в новое, устроенное на европейский лад войско Махмуда, его товарищ Гасан, скрывающийся от палачей и надеющийся с помощью братьев из провинции «перевернуть все вверх дном», и сочувствующие янычарам мулла Сали-Эффенди и ремесленник Осман. Ибрагим рассказывает товарищам о тех унижениях, которым он подвергается в новом войске: солдат заставляют носить «обезьянский наряд» и муштруют на «обезьянский манер»; ими командует «собака из немцев»; их кормят свиным салом и позволяют пить вино;

композитора Гаэтано Доницетти Джузеппе, который написал национальный гимн Турции и создал военный духовой оркестр (см. об этом: *Lewis B. The Emergence of Modern Turkey*. P. 84, 441; *Ferguson N. Civilization: the West and the Rest*. New York, 2011. P. 88).

¹⁹⁸ *Macfarlane C. Constantinople in 1828*. Vol. II. P. 25, 225.

¹⁹⁹ *Булгарин Ф. В.* Картина войны России с Турцией в царствование императора Николая I. С присовокуплением подробного описания Битвы Наваринской, составленного В. Б. Броневским. Т. 3. СПб., 1830. С. 26.

²⁰⁰ *Macfarlane C. Constantinople in 1828*. Vol. II. P. 5–6. Слухи о пристрастии Махмуда к вину, кажется, имели под собой серьезные основания. Граф Рибопьер в своих записках вспоминал, что на приеме в русском посольстве султан с трудом отводил глаза от бутылок и графинов со всякого рода винами, а потом «полюбопытствовал всего этого попробовать». Рибопьер послал ему полдюжины лучшего своего вина: «Султан был в восторге от моего угощения и так часто стал обращаться ко мне с подобными же требованиями, что вскоре весь мой запас красного вина вышел» (Записки графа Рибопьера. С. 32).

²⁰¹ *Voyages en Orient*. P. 321, 322.

²⁰² *Esquisses des mœurs turques au XIX-e siècle*. P. 8, 10.

²⁰³ *Ibid.* P. 118, 30–34.

им даже «хотели совсем обрить головы на манер франков». Слушатели возмущаются переменами, бранят чужеземцев, оплакивают гибель Исламизма. «Великий Пророк! – восклицает мулла, – чем же мы заслужили такую тяжкую кару? Когда утолится твой гнев, видя народ твой игрилищем неверных и безбожных?» Гасан обвиняет во всем султана Махмуда: «Он с ума сошел. До чего же думает нас довести этот неверный <...> Он истребляет старинные наши обычаи, портит нравы, отнимает у нас наши привилегии, а мы будем его щадить! <...> Не первый ли он нарушил *Куранни-шериф* (Св. Алкоран): этот Падишах позволяет пить вино и есть свинину?»²⁰⁴

Нетрудно заметить, что пушкинский турок обвиняет «Стамбул» ровно в тех же губительных пороках (капитуляция перед «гяурами», ослабление веры, отречение от заветов Магомета, несоблюдение религиозных ритуалов, постов и запретов, эмансипация женщин, пьянство и разврат), которые вызывают гнев у персонажей драматических сценок Палеолога, представленных с откровенной иронией. Поэтому нельзя согласиться с теми исследователями, которые считают, что позиция автора в СГ совпадает с позицией нарратора и что Пушкин – как полагает, например, В. Кошелев – устами арзрумского мусульманина осуждает отступления от национально-религиозной традиции. Ведь в этом случае нам пришлось бы признать, что в турецком контексте стихотворение направлено против европеизации и модернизации, а при проекции на контекст русский обретает антипросветительский, антизападнический, антипетровский, антипетербургский характер. На самом деле, как я думаю, дело обстоит ровно наоборот: Пушкин не солидаризируется с точкой зрения «Арзрума» (или, если угодно, «Москвы»), а дискредитирует ее, выставляя на посмеище. В этом смысле жанровая дефиниция «сатирическая», которая в «Путешествии в Арзрум» дана поэме вымышленного янычара, имеет, как кажется, двойной смысл. Если для Амин-Оглу объектом сатиры являются стамбульские нововведения, которые в Арзрум еще не проникли, то для самого Пушкина – это мракобесные взгляды «арзрумца»-ретрограда, напоминающие «мрачное упрямое супротивление суеверия и предрассудков», на которое, по Пушкину, Петр I наталкивался во враждебной ему Москве.

Ближайшую параллель к стихотворению в творчестве Пушкина тогда представляет четвертая глава «Арапа Петра Великого», где боярин Гаврила Афанасьевич Ржевский, его родственники и гости возмущаются новыми петровскими обычаями и воздают «похвалы старине». Жалобы русских традиционалистов начала XVIII века мало чем отличаются от жалоб традиционалистов турецких столетие спустя: они тоже испытывают «отвращение от всего заморского», сетуют на «нынешние наряды», осуждают неприличное поведение молодых женщин, которые «позабыли слово апостольское» и «до ночи пляшут и разговаривают с молодыми мужчинами» [VIII: 21], приходят в ужас от пьянства («...того и гляди, что на пьяного натолкнешься, аль и самого насмех пьяным напойт» [VIII: 22]).

В историческом романе вальтер-скоттовского типа подобное ворчание «староверов» – постоянный комический прием. Оно должно вызывать смех, потому что модельный читатель исторического романа, в отличие от его персонажей, отлично знает, «чем дело кончится», – знает, что те старые костюмы и строгие нравы, по которым тоскуют «староверы», обречены безвозвратно уйти в прошлое.

На такой же эффект рассчитано и СГ в обоих вариантах, поскольку идеальный читатель стихотворения знал результаты русско-турецкой войны 1828–1829 годов и потому не мог не понимать, что представленная Пушкиным точка зрения арзрумца-исламиста была полностью опровергнута ходом исторических событий.

Во-первых, «гяуры» (то есть русские) захватили отнюдь не развратный Стамбул, а благочестивый Арзрум, сдавшийся почти без сопротивления. Достаточно сравнить концовку СГ-1835, прославляющую недоступность арзрумских гаремов и неподкупность их евнухов, со

²⁰⁴ Турецкие нравы в XIX веке. С. 157, 159–160, 161.

следующей за стихами фразой «Путешествия в Арзрум» – «Я жил в сераскировом дворце в комнатах, где находился харем» [VIII: 479], – и с рассказом Пушкина о том, как он побывал в брошенном гареме арзрумского паши и даже видел неприкрытые лица его обитательниц, чтобы пушкинская скрытая ирония стала ощутимой.

Во-вторых, арзрумские янычары оказались вовсе не «бестрепетными джигитами», смело летящими в бой, а трусами и предателями. 19 июня (1 июля) 1829 года, когда Пушкин уже был в действующей армии, в плен к русским попал Мамиш-Ага, в прошлом командир янычаров. Он согласился стать парламентаром Паскевича и отправился в Арзрум, где стал уговаривать (и уговорил) военачальников сдать город. Хотя этот эпизод не упомянут в «Путешествии в Арзрум», он был довольно хорошо известен, так как о нем сообщалось в официальной реляции Паскевича (копии этих реляций, кстати, хранились у Пушкина) и в книге Булгарина «Картина войны России с Турцией»²⁰⁵. На Западе вообще считали, что именно бывшие янычары предали султана и сдали Арзрум врагу. Так, в одной из статей, помещенных в «*Revue des deux mondes*», говорилось: «Измена проникла в ряды его армии. Юсуф-паша продал Варну; старые янычары отдали Арзрум и открыли ворота Адринополя»²⁰⁶. Видный английский дипломат Эдвард Лоу, впоследствии генерал-губернатор Индии, 29 августа 1829 года записал в своем дневнике: «Читал письмо мистера Картрайта, консула в Константинополе, от 9-го числа. В потере Арзрума повинны янычары». Еще через день он передавал содержание депеши посла Великобритании в Константинополе Гордона: «Турецкая империя распадается. Патриотический энтузиазм и религиозное чувство, как кажется, угасли. Султан непопулярен. <...> Падение Арзрума объясняется предательством янычаров»²⁰⁷.

Наконец, поражение в войне с Россией не только побудило султана Махмуда продолжать и углублять реформы²⁰⁸, но и, как ни странно, способствовало русско-турецкому сближению в начале 1830-х годов. «Нынешние перемены в Турции, – отмечал Сенковский в 1835 году, – не могли бы быть выполнены, если б она не опиралась на великодушную помощь Севера»²⁰⁹.

Пушкинскую иронию усиливает обыгрывание в стихотворении мотива сна, который арзрумский фундаменталист связывает со Стамбулом и его сближением с Западом: «Как змия спящего раздавят <...> Стамбул заснул перед бедой»; «И спит подкупленный евнух». Арзрум в его понимании, напротив, бодрствует: «Не спим мы в роскоши позорной...» Оппозиция инвертирует общепринятые на Западе и в России представления о мусульманском Востоке как бездеятельной, неизменяющейся, «спящей» культуре, противопоставляемой активному, находящемуся в постоянном развитии Западу. Эта топика хорошо нам знакома по характеристике Востока в «Споре» Лермонтова: «Род людской там спит глубоко / Уж девятый век. <...> Все, что здесь доступно оку, / Спит, покой цена...», но еще задолго до него она получила широкое распространение в публицистике. Так, Уолш писал, что сначала ему казалось, что Турция – это «спящий лев, который еще может проснуться и одним ударом уничтожить всех своих врагов». Однако затем, познакомившись с нынешним печальным состоянием империи, он пришел к выводу, что «Турция никуда не движется, тогда как все соседние народы быстро прогрессируют в искусствах и гражданской жизни, что она отличается от своих древних азиатских предков только иссяканием яростной энергии, и что ее следует сравнить не со спящим, а с умирающим

²⁰⁵ Булгарин Ф. В. Картина войны России с Турцией. Т. III. С. 98. Ср. также: Macfarlane C. Constantinople in 1828. Vol. II. P. 323.

²⁰⁶ P... Projet d'une invasion de l'Inde // *Revue des deux mondes*. 1829. T. II. Novembre. P. 148.

²⁰⁷ Law E. A Political Diary 1828 to 1830 / Ed. by Lord Colchester. Vol. 2. London, 1881. P. 88–89.

²⁰⁸ Еще до заключения Адрианопольского мира в «Вестнике Европы» можно было прочитать, что «Султан очень заботится о перемене системы, как скоро окончание нынешней войны позволит приступить к оному» (Взгляд на внутреннее состояние Турецкой Империи (Из *British Chronicle*) // *Вестник Европы*. 1829. Ч. 166. № 12. С. 312).

²⁰⁹ [Сенковский О. И.] Способности и мнения новейших путешественников по Востоку. С. 115.

львом, который после нескольких конвульсий уже больше никогда не проснется»²¹⁰. Похожую мысль развивала анонимная статья в «Телескопе», представлявшая собой компиляцию двух английских журнальных обзоров²¹¹ с довольно большими авторскими вставками. «Тогда как Европа, увлекаемая потоком деятельности, кипит жизнью, Мусульманин спокойно дремлет, предаваясь воле Пророка, – писал автор. – Века укрепили его в сей летаргической бесчувственности. Он остается погруженным в ней. Все соседние народы перегоняют его; и скоро волны их, беспрестанно приливающие и накипающие, восшумят над главой его и кончат тем, что совершенно его захлещут и поглотят»²¹². Сама русско-турецкая война могла восприниматься – процитируем «Письма из Болгарии» ее участника, поэта Виктора Теплякова, – как «великолепное зрелище, на коем разыгралось одно из действий вековой драмы: – борьба недвижимого Юго-Востока с бодрым, наступательным Северо-Западом...»²¹³

У нас нет никаких оснований считать, что в этой борьбе Пушкин сочувствовал «спящему» Востоку. Хотя он никогда не высказывал никаких соображений по поводу турецкой модернизации, мы знаем, что в 1830-е годы для него, как и для всех его европейских современников, исламизм был несовместим с просвещением и прогрессом, которые, по его мнению, неразрывно соединены лишь с христианством²¹⁴. В заметках о втором томе «Истории русского народа» Н. А. Полевого Пушкин писал: «История новейшая есть история христианства. – Горе стране, находящейся вне европейской системы!» [XI: 127]. Уже в незаконченном «Тазите» (1829–1830) намечался сюжет обращения молодого горца-мусульманина в христианство²¹⁵. По пушкинскому плану, одним из персонажей поэмы должен был стать монах или священник-миссионер [V: 336]. Именно христианские миссионеры, – писал Пушкин в «Путешествии в Арзрум», – лучше всего могли бы способствовать смягчению нравов воинственных мусульман-черкесов и приобщению их к европейской цивилизации: «Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия. <...> Кавказ ожидает христианских миссионеров» [VIII: 449]. В том же первом номере «Современника», где было напечатано «Путешествие в Арзрум», Пушкин поместил очерк «Долина Ажитугай» черкеса-мусульманина Султана Казы-Гирея, сочувственно процитировав в кратком послесловии к нему слова автора, назвавшего христианский крест, высеченный на гранитном столбе, «хоругвию Европы и просвещения» («Любопытно видеть, как <...> Магометанин с глубокой думою смотрит на крест, *эту хоругвь Европы и просвещения*» <курсив автора. – А. Д.> [XII: 25]).

Если экстраполировать эти представления Пушкина на ситуацию в Турции, можно предположить, что главным условием успеха турецких реформ он должен был считать деисламизацию и «приобщение к европейской системе» (собственно говоря, то, что совершил в XX веке Атаатюрк). Это тем более вероятно, что в России тогда не исключали возможности будущей христианизации Османской империи и подозревали Махмуда в скрытых симпатиях к «хоругви Европы и просвещения». У Николая I были какие-то основания полагать, что султан Махмуд «склонен к принятию, в случае крайности, христианской веры». Об этом он под большим сек-

²¹⁰ Путешествие по Турции из Константинополя в Англию чрез Вену. С. 190.

²¹¹ The Westminster Review. 1833. Vol. XIX. April–July. P. 163–178; The Quarterly Review. 1833. Vol. XLIX. № 98. P. 283–322.

²¹² Настоящее состояние и будущность Оттоманской Империи. С. 532.

²¹³ Тепляков В. Письма из Болгарии (Писаны во время кампании 1829 года). М., 1833. С. XIV–XV.

²¹⁴ Как отметил Ю. М. Лотман, для Пушкина «христианство – основа и сущность европейского просвещения» (Лотман Ю. М. Из размышлений над творческой эволюцией Пушкина (1830 год) // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: Комментарии. СПб., 1995. С. 305).

²¹⁵ См. об этом: Комарович В. Л. Вторая кавказская поэма Пушкина // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. Вып. VI. М.; Л., 1941. С. 225–228; Toddес Е. О незаконченной поэме Пушкина «Тазит» // Пушкинский сборник. Псков, 1973. С. 67–68.

ретом рассказал на аудиенции Н. Н. Муравьеву-Карсскому перед отъездом последнего в Стамбул. «По возвращении моем из Турции, – вспоминает Муравьев, – я заметил, что государь изменил свой образ мыслей на сей счет; обращение султана в христианство казалось ему делом несбыточным и даже недоступным»²¹⁶. Он приводит слова императора о Турции: «...хотя обязанность каждого из нас стараться просветить страну сию Христианством, но на время должно отложить эту мысль»²¹⁷.

О возможности просветить Турцию христианством задумывался и автор упомянутой выше статьи о Турции в «Телескопе». Выражая некоторый скептицизм относительно попыток Махмуда совместить просвещение с исламом, он предполагал, что в дальнейшем старый религиозный уклад будет полностью разрушен и Османская империя, отказавшись от Корана, возродится «силой просвещения для нового, высшего существования»:

Может быть Греческий крест, сияющий на башнях Кремля, засверкает на минаретах Царя-Града... И кто знает, не суждено ли древней Византии сделаться новым средоточием цивилизации; не возродится ли к новой жизни Восток, столь долго дремавший в торжественном бездействии Исламизма; не возгордятся ли берега Нила в другой раз своими тысячами городами; не возвратят ли Варварийские пустыни свои триста училищ, кои некогда составляли их славу; не восстанут ли из своего пепла библиотеки Пергама и Александрии; не предназначена ли новая эра славы Финикии, Тиру и Сидону...²¹⁸

Непросвещенная азиатская Турция – как явствует из пятой главы «Путешествия в Арзрум» – произвела на Пушкина угнетающее впечатление. Грязь, нищета, грубые нравы, – все то, что он назвал «азиатской бедностью» и «азиатским свинством», – вызвали у него одно лишь омерзение. Надо полагать, что заблуждения самодовольного арзрумского янычара были ему не менее отвратительны, чем узкие и кривые улицы Арзрума, низкие и темные мечети, памятники и гробницы, в которых «нет ничего изящного: никакого вкуса, никакой мысли», чем местные жители, показывающие ему язык, словно лекарю. Правда, В. А. Кошелев увидел тут бахтинский диалог двух равноправных точек зрения – «правды древнего Востока», выраженной в стихотворении, и западных представлений о Востоке, выраженных в прозе (то есть того, что Э. Саид определил бы как колониалистский ориентализм)²¹⁹. Однако я думаю, что это лишь обычные издержки метода, который побуждает везде находить диалог, амбивалентность или, того хуже, пресловутую апорию, принимая за них иронию, издевку и все прочие формы вполне монологических словесных заушений и заглушений. СГ-1835 как язвительная сатира хорошо вписывается в западный дискурс «Путешествия в Арзрум», а он, в свою очередь, столь же хорошо соответствует общей западной программе «Современника», в первом номере которого Пушкин напечатал «Путешествие» вместе с «Пиром Петра Первого», «Из А. Шенье» и «Скупым рыцарем». Сутью этой программы, как писал Н. В. Измайлов, было русское европейство: журнал призывал «идти путем Петра, отстаивать просвещение, основы которого были им заложены, бороться против всяких попыток остановить развитие просвещения и изолировать Россию от западноевропейской культуры». СГ-1835, – замечает при этом исследователь, – представлял собой «своеобразное развитие той же темы о борьбе между старым и

²¹⁶ Русские на Босфоре в 1833 году. Из записок Н. Н. Муравьева (Карсского). М.: Чертковская библиотека, 1869. С. 12.

²¹⁷ Там же. С. 450.

²¹⁸ Настоящее состояние и будущее Оттоманской Империи. С. 552–553.

²¹⁹ Кошелев В. А. Историческая оппозиция «Запад – Восток» в творческом сознании Пушкина. С. 292. Ср. также сходные суждения А. Эткнда, полагающего, что СГ-1835 – это «пафосные стихи» и что в них «поэт продолжает верить в то, что он, историк и путешественник, высмеивает в прозе. <...> Поразительно наблюдать, как различие жанров порождает различие идеологий» (Эткнд А. Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах. М., 2001. С. 52).

новым, которая занимала Пушкина в связи с работой о Петре»²²⁰. Если вспомнить, что в то самое время, когда Пушкин работал над «Путешествием в Арзрум» и готовил к печати первый том «Современника», в Москве начала складываться идеология славянофильства и поэтому антитеза «Петербург – Москва» снова стала актуальной, стихотворение, в котором противопоставлялись центры двух соперничающих культур, – приморская столица, открытая внешнему миру и переменам, и удаленный от моря провинциальный город, переменам и внешнему миру враждебный, – получало даже не двойное, а тройное дно.

²²⁰ Измайлов Н. В. Лирические циклы в поэзии Пушкина конца 20–30-х годов // Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975. С. 238.

ИТАЛЬЯНСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭМЕ ПУШКИНА «АНДЖЕЛО»

Поэма Пушкина «Анджело» представляет собой вольное переложение основного сюжета пьесы Шекспира «Мера за меру» (далее МЗМ) с вкраплением нескольких фрагментов ее перевода. В свою очередь, МЗМ основана на бродячем сюжете, имевшем широкое хождение в XVI века. В указателе Аарне-Томпсона он значится под номером K1353 и описывается следующим образом: «Woman deceived into sacrificing honor. Ruler promises to release her brother (husband) but afterwards refuses to do so»²²¹ («Женщину обманом вынуждают пожертвовать честью. Правитель обещает освободить ее брата (мужа), а затем отказывается выполнить обещание»). В современном английском шекспироведении его обычно называют «гнусный выкуп» (*the monstrous ransom*).

Этот сюжет бытовал во многих вариантах²²². Однако, как давно установили исследователи, источниками Шекспиру послужили две его обработки: новелла из сборника итальянского писателя Джованни Батиста Джиральди Чинтио «Экатоммити» (*Hecatommithi* – с греч. «Сто сказаний», 1565; см. там же источник «Отелло») о несправедливом губернаторе Инсбрука Джуристе, который уговорил юную Эпитию отдаться ему, пообещав ей за это помиловать ее приговоренного к смерти брата, но не сдержал обещание²²³, а также основанная на этой новелле драма Джорджа Ветстоуна «Промос и Кассандра» («*The Right Excellent and Famous Historye of Promos and Cassandra*», 1578). Об итальянской новелле в связи с «Анджело» вспомнил еще П. А. Катенин, писавший: «Шекспир переделал повесть из Жеральдо Чинтио в драму „Мера за меру“: весьма понятно, но драму опять переделывать в повесть с разговорами: странная мысль»²²⁴.

Пушкин, по всей вероятности, знал о существовании источников МЗМ, так как они упоминались в предисловии Амадея Пишо к французскому переводу пьесы, которым он пользовался наряду с английским оригиналом. «Из этой пьесы видно, – писал критик, – что творческий гений Шекспира мог оплодотворить самое бесплодное зерно. Старинная драма некоего Джорджа Вестона <sic!>, озаглавленная „Промас <sic!> и Кассандра“, сочинение бездарное, была превращена им в одну из лучших комедий. Возможно, ему даже не пришлось оказать честь Вестону и воспользоваться его опусом, потому что одна новелла Джеральди Чинтио содержит почти все события „Меры за меру“, а Шекспиру нужна была лишь первоначальная идея, чтобы выстроить фабулу и привести ее в движение. И в новелле Чинтио, и в пьесе Вестона бесовский судья добывается своего от девушки, которая пришла просить его помиловать ее брата. За это государь женит его на обещанной им девушке, после чего велит казнить, но в конце концов милует, благодаря мольбам той, кто забывает о мести, став женой виновного»²²⁵.

²²¹ Thompson S. Motif-Index of Folk-Literature. A Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Medieval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books, and Local Legends / Revised and Enlarged ed. by S. Thompson. Vol. 4. Indiana University Press, 1960. P. 391.

²²² См.: Bolte J. Italienische Volkslieder aus der Sammlung Hermann Kestners // Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. Band XII. Berlin, 1902. S. 65; Budd F. E. Material for the Study of the Sources of Shakespeare's *Measure for Measure* // Revue de littérature comparée. 1931. Vol. 11. P. 711–736; Bullough G. (ed.). Narrative and Dramatic Sources of Shakespeare. Vol. II: The Comedies, 1597–1603. Columbia University Press, 1958. P. 399–530; Lawrence W. W. Shakespeare's Problem Comedies. 2nd ed. New York, 1960. P. 84–91; Prouty Ch. T. George Whetstone and the Sources of *Measure for Measure* // Shakespeare Quarterly. 1964. Spring. Vol. 15. No. 2. P. 131–145; Lever J. W. (ed.) *Measure for Measure*. The Arden Edition of the Works of William Shakespeare. London, 2003. P. XXXV–XLIV.

²²³ Русский перевод см.: Итальянская новелла эпохи Возрождения. М., 1957. С. 503–513.

²²⁴ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. / 3-е изд. Вступ. ст. В. Э. Вацуро; сост. и примеч. В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсона, Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович и др. СПб., 1998. Т. 1. С. 189.

²²⁵ Shakespeare W. Œuvres complètes / Traduites de l'anglais par Letourneur. Nouvelle éd., revue et corrigée par F. Guizot et A.

Саму новеллу Чинтио Пушкин, скорее всего, не читал, поскольку единственное издание французского перевода «Экатоммити»²²⁶ было в России едва ли доступно, и потому должен был предполагать, что ее действие происходит на родине автора, а не в условной Вене, как у Шекспира. На итальянские корни сюжета указывали и итальянские имена почти всех персонажей МЗМ. Именно поэтому, вероятно, Пушкин перенес место действия из условной шекспировской Вены в «один из городов Италии счастливой» и назвал герцога этого города «Дук» (итал. *Duca* – герцог), по итальянскому произношению, а не более употребительным галлицизмом «дюк» (фр. *duc*).

Эпитет «счастливый» применительно к Италии – это клише, восходящее к античности и бытовавшее во всех основных европейских языках (итал. *l' Italia felice*; франц. *l' heureuse Italie*; англ. *happy Italy*; нем. *glücklich Italien*). Оно встречается еще в дошедшем до нас фрагменте (121/600) трагедии Софокла «Триптолем»: «Италия счастливая желтеет / От золотистых нив»²²⁷; на монетах императора Адриана чеканили надпись *Italia felix*, то есть «Италия счастливая». До «Анджело» Пушкин использовал его в одесском эпизоде «Путешествия Онегина»: «Сыны Авзонии счастливой / Слегка поют мотив игривый, / Его невольно затвердив...» [VI: 205]. Как заметил И. А. Пильщиков, выражение «счастливая Италия / Авзония» с середины XVIII века ассоциируется в первую очередь «с культурным расцветом эпохи Возрождения»²²⁸. См., например, в лекции «О последовательном прогрессе человеческого духа» (1750) французского экономиста и философа Анн-Робер-Жака Тюрго: «Je te salue, ô Italie! Heureuse terre, pour la seconde fois la Patrie des lettres et du goût...»²²⁹ (букв. пер.: «Я приветствую тебя, о Италия! Счастливая страна, вторично ставшая родиной литературы и вкуса...»). Особо важную роль в распространении мифологизированных представлений об Италии эпохи Возрождения сыграл роман мадам де Сталь «Коринна, или Италия» (1807). Его героиня, итальянская поэтесса, певица, художница, импровизируя на тему «Слава и счастье Италии», воспекает родину как страну, которая возродила античное искусство и дала миру великих поэтов – Данте, Тассо, Петрарку, Ариосто, великих художников – Микеланджело, Рафаэля, великих композиторов, путешественников, ученых. В Италии, декламирует она, сам солнечный свет «будоражит воображение, возбуждает мысль, порождает отвагу и погружает в сон счастья»²³⁰. Делая своего Дука «другом художеств и наук», Пушкин вписывает его в один ряд с легендарными герцогами итальянских ренессансных городов-государств.

Кроме этих отсылок к «счастливой Италии» в самом начале «Анджело», поэма, как верно заметил В. Ф. Переверзев, не имеет «ничего итальянского – ни быта, ни природы»²³¹. Характерно, что единственная историко-этнографическая деталь, добавленная Пушкиным, – обычай казнить по пятницам («На полных площадях, безмолвных от боязни, / По пятницам пошли разыгрываться казни») – связана не с итальянской, а с англо-американской практикой публичных экзекуций в XVII–XVIII веках²³².

P[ichot], traducteur de Lord Byron. Vol. VIII. Paris, 1821. P. 151–152.

²²⁶ Le premier [Le second] volume des Cent excellentes Nouvelles de M. Jean Baptiste Giraldy Cinthien, gentilhomme Ferrarois, contenant plusieurs beaux exemples et notables histoires, partie tragiques, partie plaisantes et agréables qui tendent à blâmer les vices et former les mœurs d' un chacun, mis d' italien en françois par Gabriel Chappuys, tourangeau : 2 vol. Paris, 1583–1584. Новелла об Эпитии напечатана во втором томе сборника, см.: Le Second volume des Cent excellentes Nouvelles de M. Jean Baptiste Giraly Synthien. P. 107–115.

²²⁷ Софокл. Драмы / Пер. Ф. Ф. Зеленского; под ред. М. Л. Гаспарова и В. Н. Ярхо. М., 1990. С. 396 (Литературные памятники).

²²⁸ Пильщиков И. А. Батюшков и литература Италии: Филологические разыскания. М., 2003. С. 210.

²²⁹ Turgot A.-R.-J. Œuvres: 9 vol. Paris 1808. Т. II. P. 87.

²³⁰ Staël, G. de. Oeuvres complètes de Mme la Baronne de Staël: 17 vol. Paris, 1820. Т. VIII: Corinne, ou L' Italie. P. 75; Библиотека Пушкина. С. 341. № 1406.

²³¹ Переверзев В. Ф. Гоголь. Достоевский. Исследования. М., 1982. С. 413.

²³² Публичные казни часто (но не всегда) производили по пятницам в Англии и английских колониях в XVI–XVIII веках; поэтому пятницу там называли «виселичный день» (*hanging day*) или «день палача» (*hangman's day*). См., например, в «Исто-

Отсутствие итальянского *couleur locale* отчасти компенсируется реминисценциями «Ада» Данте, которые обнаруживаются в одном из самых сильных мест «Анджело» – монологе Клавдио о смерти и загробных муках грешника²³³. Сравним английский оригинал этого монолога (с подстрочником), его прозаический французский перевод и, наконец, текст Пушкина:

Ay, but to die, and go we know not where;
To lie in cold obstruction, and to rot;
This sensible warm motion to become
A kneaded clod; and the delighted spirit
To bath in fiery floods, or to reside
In thrilling region of thick-ribbed ice;
To be imprison'd in the viewless winds,
And blown with restless violence round about
The pendant world: or to be worse than worst
Of those that lawless and uncertain thought
Imagine howling, – 'tis too horrible.
The weariest and most loathed worldly life
That age, ache, penury and imprisonment
Can lay on nature is a paradise
To what we fear of death²³⁴.

[Букв. пер.: Но все же: умереть, уйти неведомо куда,
Лежать в студеном оцепенении, гнить;
Чтоб чувствующее, теплое, подвижное вдруг стало
Комком персти; а расширившийся <delighted=dilated> дух
Окунулся в огненные потоки иль очутился
В страшном краю толсто-ребристых льдов;
Быть узником невидимых ветров
И без конца носиться под их ударами вокруг
Подвешенного земного шара; иль испытать то, что ужаснее
Самых ужасных загробных мук, которые рисует
Беззаконная и неясная фантазия. – Как это страшно!
Самая тяжелая, самая ненавистная земная жизнь, —
В старости, в болезнях, в нищете, в неволе, —
Гнетущая природу, это рай
По сравнению с тем, чего мы боимся в смерти.]

Oui: mais mourir, et aller on ne sait où; être gissant dans une froide tombe, et y tomber en corruption; perdre cette chaleur vitale et douée de sentiment, pour devenir une argile docile; tandis que l'âme accoutumée ici-bas à jouissances se baignera dans les flots brûlans, ou sera plongée dans des régions d'une glace épaisse, – emprisonnée dans les vents invisibles, pour être emportée violemment par

рии Нью Йорка» Вашингтона Ирвинга: «[Friday] being that unlucky day of the week, termed „hanging day“» (пер.: «[Пятница] несчастливый день недели, который называют „висельным днем“»; Irving W. A History of New York from the Beginning of the World to the End of the Dutch Dynasty <...> by Diedrich Knickerbocker. London, 1824. P. 199).

²³³ См.: Левин Ю. Д. Об источниках поэмы Пушкина «Анджело» // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1968. Т. XXVII. Вып. 3 (май – июнь). С. 257–258.

²³⁴ Lever J. W. (ed.). Measure for Measure. The Arden Edition of the Works of William Shakespeare. P. 73–74.

les ouragans autour de ce globe suspendu dans l'espace, ou pour subir des états plus affreux que le plus affreux de ceux que la pensée errante et incertaine imagine avec un cri d'épouvante; oh! cela est trop horrible. La vie de ce monde la plus pénible et la plus odieuse que la vieillesse, ou la misère, ou la douleur, ou la prison puissent imposer à la nature, est encore un paradis auprès de tout ce que nous appréhendons de la mort²³⁵.

[Букв. пер.: Да, но умереть, идти неведомо куда, лежать в холодной могиле и там гнить; потерять живой благословенный жар чувств и стать бессильным брением; тогда как душа, привыкшая здесь к наслаждениям, будет плавать в огненных потоках или низвергаться в толщу льдов – станет узницей невидимых ветров, чтоб ураганы терзали и носили ее вокруг земного шара, подвешенного в пространстве; иль испытает такое, что страшнее самых страшных кошмаров, которые блуждающая неясная мысль порождает с жутким воплем; ах, как это ужасно. Самая мучительная, самая постылая земная жизнь, какую только старость, или нищета, или болезнь, или узилище могут навязать нашей натуре, – это все же рай по сравнению со всем, чем страшит нас смерть.]

Так – однако ж... умереть,
Идти неведомо куда, во гробе тлеть
В холодной тесноте... Увы! земля прекрасна
И жизнь мила. А тут: войти в немую мглу,
Стремглав низвергнуться в кипящую смолу,
Или во льду застыть, иль с ветром быстротечным
Носиться в пустоте, пространством бесконечным...
И всё, что грезится отчаянной мечте...
Нет, нет: земная жизнь в болезни, в нищете,
В печалих, в старости, в неволе... будет раем
В сравненьи с тем, чего за гробом ожидаем.

[V: 123]

Пушкин довольно точно передает самый общий смысл монолога и его эмоциональную окраску, а также сохраняет инфинитивные конструкции. Однако образный строй оригинала у него заметно изменен и упрощен²³⁶. Создается впечатление, что пушкинского Клавдио страшат не столько посмертные мытарства бесплотной души, отделившейся от истлевающего тела и покинувшей земной шар, как в МЗМ, сколько телесные муки наказанных грешников в аду, как в «Inferno» и в народных верованиях. Два ярких образа у Пушкина – «немая мгла» и «кипящая смола» – вообще отсутствуют как в оригинале, так и во французском переводе, но имеют параллели у Данте.

Как заметил Ю. Д. Левин, «кипящая смола» отсылает к песни XXI «Inferno», где описаны муки лихоимцев (пятый ров восьмого круга). Бесы бросают их в ров, где кипит густая смола («*bolgia là giuso una regola spessa*»), и не позволяют высунуть голову наружу²³⁷. «Огнен-

²³⁵ Shakespeare W. Œuvres complètes / Traduites de l'anglais par Letourneur. Nouvelle éd., revue et corrigée par F. Guizot et A. P[ichot], traducteur de Lord Byron. Vol. VIII. P. 225–226.

²³⁶ Подробнее см.: Долинин А. Пушкин и Англия: Цикл статей. М., 2007. С. 41.

²³⁷ Левин Ю. Д. Об источниках поэмы Пушкина «Анджело» // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1968. Т. XXVII. Вып. 3. С. 258.

ные потоки» в МЗМ – это метафизический образ совсем другого происхождения и характера. За ним стоит античная идея загробного очищения душ от скверны погружением в космические стихии. Ср. в «Энеиде»: «Одни, овеваемы ветром, / Будут висеть в темноте, у других пятно преступленья / Выжжено будет огнем или смыто в пучине бездонной»²³⁸.

Метафора «немая мгла» до Пушкина использовалась в русской поэзии – в балладе архаиста А. И. Писарева на сюжет Шарля Юбера Мильвуа «Выкуп Оссиана» («Лишь изредка браздой огонь мраки раздирает / Как славные дела немую мглу веков...»), напечатанной в альманахе Одоевского и Кюхельбекера «Мнемозина»²³⁹ и в «Соревнователе просвещения и благотворения»²⁴⁰. Писарев мог подхватить ее в ранней редакции элегии того же Мильвуа «Годовщина» («L' anniversaire», 1806): «L' obscurité muette augmenta ma souffrance»²⁴¹ («немая мгла усилила мои страдания»). Однако в обоих случаях она тематически никак не связана с загробным миром: у Мильвуа речь идет о бессонных ночах, а у Писарева – об историческом прошлом. С другой стороны, в *Inferno* «немота/молчание» дважды выступает как метафорический атрибут солнца или света, означая тьму. В первой песни поэмы, перед появлением Вергилия и вхождением в ад, страшная волчица гонит героя прочь, туда, где «молчит солнце» («là dove 'l sol tace» – I, 60), то есть в тот темный лес («una selva oscura» – I, 2), из которого он пытается вырваться²⁴². Сходный образ «молчащего света» («Io venni in luogo d' ogni luce muto» – V, 28) появляется и в начале пятой песни, когда Данте вступает во второй круг ада, где караются сластолюбцы, чей разум был побежден желанием («peccator carnali, / che la ragion sommettono al talento»). Если вспомнить, что Клаудио приговорен к смертной казни за плотский грех с девицей, то ассоциация его страхов именно со вторым кругом получает сильную мотивировку.

Правда, мрак во втором круге не «молчит», потому что в нем звучат стоны и жалобы наказанных грешников. Там их мучает «адский ураган, который, никогда не затихая, всей своей силой гонит души: терзает их, крутя и колотя» («La bufera infernal, che mai non resta, / mena li spirti con la sua rapina: / voltando e percontendo li molesta» – V, 31–33). Мотив ураганного ветра, который терзает души умерших, есть и в монологе Клаудио, но, как давно установили шекспироведы, он восходит не к Данте, а к античным источникам – к процитированному выше месту из шестой песни «Энеиды» и к финалу шестой книги диалога Цицерона «О Республике», так называемого «Сна Сципиона». В этой книге Сципиону во сне является покойный Публий Африканский, который поднимает его высоко над Землей, показывает звезды и планеты, объясняет устройство космоса и, наконец, говорит о том, что душа вечна и ее нужно готовить к вечной жизни после смерти:

Ибо дух тех, кто предавался чувственным наслаждениям, предоставил себя в их распоряжение как бы в качестве слуги и, по побуждению страстей, повинующихся наслаждению, оскорбил права богов и людей, носится, выйдя из их тел, вокруг самой Земли и возвращается в это место только после блужданий в течение многих веков²⁴³.

²³⁸ Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида / Пер. с лат.; вступ. статья М. Гаспарова; коммент. Н. Старостиной и Е. Рабинович. М., 1979. С. 260 (Библиотека античной литературы).

²³⁹ См.: Писарев А. И. Выкуп Оссиана («Внимай! внимай!... В дубраве темной...») // Мнемозина, собрание сочинений в стихах и прозе. Ч. 3. М., 1824. С. 148.

²⁴⁰ Писарев А. И. Выкуп Оссиана («Внимай, внимай: в дубраве темной...») // Соревнователь просвещения и благотворения. 1824. Ч. 28. Кн. 1. С. 65.

²⁴¹ Millevoye Ch.-H. Belzunce, ou la peste de Marseille, et la Bataille d' Austerlitz, poèmes, suivis d' autres poésies / 2e éd. Paris, 1809. P. 134. В брюссельском собрании сочинений Мильвуа, которое сохранилось в библиотеке Пушкина, «Годовщина» напечатана в сокращении без этого стиха (Millevoye Ch.-H. Œuvres complètes / Nouvelle éd. Bruxelles, 1823. P. 60–61; Библиотека Пушкина. С. 289. № 1171).

²⁴² О «молчащем мраке» как символе богооставленности см.: Heilbronn-Gaines D. Inferno I: Breaking the Silence. In Dante's Inferno / The Indiana Critical Edition. Transl. and ed. by M. Musa. Indiana University Press, 1995. P. 287–288.

²⁴³ Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах / Изд. подгот. И. Н. Веселовский, В. О. Горенштейн и С. Л. Утченко. М.,

Оба описания (особенно первое) считаются прообразами средневековых христианских представлений о чистилище²⁴⁴, и это обстоятельство позволило американскому шекспироведу Джону Хэнкинсу предположить, что, говоря об огненных потоках, о страшном крае льдов и о ветрах, которые несут душу вокруг Земли, шекспировский Клаудио имеет в виду муки чистилища, а не ада²⁴⁵.

В переводе монолога Пушкин отбросил почти все мотивы, связанные с чистилищем, и заменил их мотивами «адскими». Если у Шекспира Клаудио боится после смерти попасть в страну льдов – согласно ряду ранних средневековых источников, одну из двух или трех частей чистилища²⁴⁶, то у Пушкина он воображает, что вмерзнет в лед, подобно предателям, которых Данте поместил в последний, девятый круг ада. Если у Шекспира душа проходит очищение в огненных потоках или реках (постоянный мотив всех текстов о чистилище), то у Пушкина ее казнят в «смоле кипящей», как в *Inferno*. Только ураганный ветер в переводе отнесен не к аду, как у Данте, а к «бесконечному пространству», хотя и здесь Пушкин отклоняется от оригинала, где Шекспир отталкивался от «Сна Сципиона».

Поскольку французский перевод МЗМ, которым пользовался Пушкин, довольно точно передает все сложные места монолога, сделанные замены нельзя списать на его недостаточную языковую компетенцию. По всей вероятности, скрещение Шекспира с Данте понадобилось Пушкину, чтобы усилить едва намеченный итальянский фон «Анджело». Это тем более вероятно, что он (как, впрочем, и большинство европейских романтиков) считал Данте и Шекспира близкими родственниками (хотя их разделяло почти 300 лет) – великими предтечами романтизма, национальными гениями одного типа, который эстетика классицизма отвергала как варварский, дикий, грубый²⁴⁷. Только Шекспир и Данте, писал Август Шлегель в «Курсе драматической литературы», наделены «тем взглядом истинного поэта, который проникает во внутреннюю жизнь природы и самых тайных сил»²⁴⁸. Недаром в известной заметке Пушкина о смелости гения имена Шекспира и Данте стоят рядом:

Есть высшая смелость: смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческой мыслью – такова смелость Шекспира, Dante, Milton'a, Гете в Фаусте, Мольера в Тартюфе [XI: 61].

При таком подходе огромные различия между двумя «смелыми» гениями скрадываются, а сходство преувеличивается и в перевод из одного легко вживляются мотивы и образы из другого.

1966. С. 87–88 (Литературные памятники).

²⁴⁴ Об истории этих представлений в целом см.: *Le Goff J. The Birth of Purgatory* / Transl. by A. Goldhammer. Aldershot, 1990; *Walls J. L. Purgatory: the Logic of Total Transformation*. Oxford University Press, 2012; в шекспировскую эпоху – *Greenblatt S. Hamlet in Purgatory* / Expanded edition with a new preface. Princeton University Press, 2013.

²⁴⁵ *Hankins J. E. The Pains of the Afterworld: Fire, Wind, and Ice in Milton and Shakespeare* // *PMLA*. 1956. Vol. 71. No. 3 (June). P. 487–494.

²⁴⁶ См.: *Le Goff J. The Birth of Purgatory*. P. 197–198, 297.

²⁴⁷ Ср.: *Вацуро В. Э. Пушкин и Данте* // *Лотмановский сборник*. Т. 1. М., 1995. С. 375–391.

²⁴⁸ *Schlegel A. W. Cours de littérature dramatique. Traduit de l' Allemand*. T. 3. Paris, Genève, 1814. P. 43.

DICHTUNG UND WAHRHEIT ПУШКИНА «ГРИБОЕДОВСКИЙ ЭПИЗОД» В «ПУТЕШЕСТВИИ В АРЗРУМ ВО ВРЕМЯ ПОХОДА 1829 ГОДА»

Гроб с телом Грибоедова въезжает в пространство «Путешествия в Арзрум» (далее – ПВА) на арбе, запряженной двумя волами, – так же, как в более раннем эпизоде уезжает из поля зрения путешественника мертвое тело безымянного осетина:

На дворе стояла арба, запряженная двумя волами. <...> Мертвеца
вынесли на бурке.

... like a warrior taking his rest
With his martial cloak around him;
положили его на арбу.

[VIII: 450]

Два эпизода связаны между собой не только похоронной темой, но и стиховыми инкрустациями. Мертвое тело осетина вызывает у Пушкина ассоциацию со строками анапестического стихотворения на смерть английского генерала Джона Мура, приписывавшегося Байрону²⁴⁹, а «грибоедовский эпизод» открывается предложением, которое соответствует метрической схеме пятистопного хорей, странным образом предвосхищая «Выхожу один я на дорогу» и заданный им семантический ореол метра:

Два вола, впряженные в арбу,
поднимались по большой дороге²⁵⁰.

В литературе о ПВА многократно отмечались некоторые странности «грибоедовского эпизода». Во-первых, описывая свой путь до и после встречи с арбой, везущей тело Грибоедова, Пушкин спутал топонимы, назвав горный хребет Акзибиук (Ахзебиук) на границе Грузии и Армении Безобдалом²⁵¹, а крепость Джелал-Оглу на высоком правом берегу реки Дзорагет (Каменной речки) – Гергеррами²⁵². Во-вторых, официальные документы, касающиеся

²⁴⁹ Об этой цитате см.: Долинин А. Байроновский след в книге Пушкина «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» // Memento vivere. Сборник памяти Л. Н. Ивановой / Сост. и научные ред. К. А. Кумпан и Е. Р. Обатнина. СПб., 2009. С. 122–131.

²⁵⁰ На появление метрических вкраплений в «грибоедовском эпизоде» обратил внимание П. Бицилли, выделивший только ямбические каденции и связавший их с «трагическим настроением», которое охватило Пушкина при встрече с телом Грибоедова: «...теперь проза соскальзывает в шести- и пятистопный ямб, размеры, свойственные как раз трагедии: „Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил“; „она <смерть Грибоедова> была мгновенна и прекрасна“» (Бицилли П. «Путешествие в Арзрум» // Белградский пушкинский сборник / Под ред. Е. В. Аничкова. Белград, 1937. С. 253). К приведенным П. Бицилли примерам следует добавить и ямбический диалог: «„Откуда вы?“ – спросил я их. – „Из Тегерана“. – „Что вы везете?“ – „Грибоеда“». Очевидно, что мы имеем дело с вольным драматическим ямбом по схеме 6–4, что должно напоминать не столько о трагедии, сколько о вольных ямбах «Горя от ума».

²⁵¹ На самом деле перевал через гору Безобдал начинается примерно в семидесяти верстах к югу от границы Грузии и Армении, что отмечено в «Маршруте от Тифлиса до Арзрума», приложенном к рукописи ПВА [VIII: 489]. См.: Вейденбаум Е. Г. Кавказские этюды. Тифлис, 1901. С. 54. Как показал И. С. Сидоров, это чисто техническая ошибка, допущенная при перебивании рукописи и по недосмотру оставшаяся неисправленной, так как в кратком содержании второй главы эпизоды указаны в правильной последовательности: «Вид Армении. Двойной переход. Армянская деревня. Гергеры. Грибоедов. Безобдал» (см.: Сидоров И. С. «Великая иллюзия» или «мнимая нелепость» (О встрече Пушкина с телом убитого Грибоедова) // Московский Пушкинист. [Вып. 6]. М., 1999. С. 298–299).

²⁵² Указано в работе: Айвазян К. В. «Путешествие в Арзрум» Пушкина (Пушкин в Армении) // Пушкин и литература народов Советского Союза. Ереван, 1975. С. 364–365. Небольшая крепость Джелал-Оглу (под таким названием она значится в

перевозки тела Грибоедова от границы с Персией в Тифлис, казалось бы, противоречат рассказу Пушкина. Как следует из этих документов, после торжественных церемоний на границе (1 мая 1829 года) и в Нахичевани (2 мая), уже 3 мая тело было отправлено «через Эчмиадзин на Гумры и так далее, с командой, следующей в Джелал-оглу, и прапорщик Тифлисского пехотного полка Макаров провожает оное до Тифлиса»²⁵³. В таком случае не вполне понятно, почему через пять с половиной недель, 11 июня, когда Пушкин заезжал в Джелал-Оглу, повозка еще находилась в пути (примерно в 225 верстах от Нахичевани и 111 верстах от Тифлиса), а ее военное сопровождение превратилось в «несколько грузин». Поскольку, как заметил Н. Я. Эйдельман, «о встрече с телом Грибоедова не сохранилось никаких упоминаний ни в переписке поэта, ни в кавказских стихотворениях, ни в „путевых записках“ 1829 года, ни даже в подробном плане-оглавлении этих записок, набросанном 18 июля 1829 года»²⁵⁴, многие исследователи в последнее время склонились к выводу, что в действительности никакой встречи не было, а весь эпизод представляет собой вымысел, чисто художественную конструкцию²⁵⁵.

Фикционалистская гипотеза представляется нам уязвимой, прежде всего потому, что ее сторонники не уделили должного внимания важной информации, содержащейся в надежном и давно известном документе – датированном 20 июля 1829 года письме В. Н. Григорьева к Ф. В. Булгарину из Тифлиса. Оно было опубликовано анонимно в № 2 «Сына отечества» за 1830 год и перепечатано И. С. Зильберштейном (который и установил имя автора) в первом сборнике «А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников»²⁵⁶. Говоря словами В. Н. Григорьева, «судьба привела» его «быть на двух встречах, сделанным бранным <...> останкам <Грибоедова> на границе и в Тифлисе». Подробно описав пышную траурную процессию в Нахичевани, он сообщает:

«Маршруте от Тифлиса до Арзрума» [VIII: 489]; ныне – город Степанаван) была построена во время русско-персидской войны 1826–1828 годов под надзором Д. В. Давыдова (см. об этом в его автобиографии «Некоторые черты из жизни Дениса Васильевича Давыдова»: *Давыдов Д.* Сочинения. М., 1962. С. 33). До этого здесь, у переправы через Дзорает (Каменную речку), была расквартирована лишь одна артиллерийская рота (см.: Записки Алексея Петровича Ермолова. С приложениями / Изд. Н. П. Ермолова. Ч. II: 1816–1827 г. М., 1868. С. 144), а русский военный гарнизон располагался примерно в десяти верстах к югу, в урочище Гергеры, близ одноименного селения (см., например, запись в путевом дневнике А. С. Грибоедова, проезжавшего эти места в 1820 году: «12-го (января). Через гору в Гергер. Казармы. Оттуда высочайший Безобдал...» (*Грибоедов А. С.* Сочинения / Под ред. С. А. Фомичева. М., 1988. С. 419). К 1829 году казачьи полки и пограничные службы были переведены в Джелал-Оглу, а в Гергерах оставлен лишь караульный пост. Именно в Джелал-Оглу путешественники обычно останавливались на отдых и ночлег. Так, например, 12 сентября 1828 года в крепости обедал «на европейский лад» и ночевал А. С. Грибоедов по пути в Персию (*Пиксанов Н. К.* Летопись жизни и творчества А. С. Грибоедова, 1791–1829. М., 2000. С. 130; *Аделунг К. Ф.* <Письма к отцу. 1828 г.> // А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников / Коммент. П. С. Краснова, С. А. Фомичева. М., 1980. С. 187). Пушкинское описание местности (переезд через реку, подъем на высокий берег, с которого стекают ручьи), само слово «крепость», а также упоминание об обеде с Бутурлиным, на наш взгляд, не оставляют никаких сомнений в том, что речь идет не о Гергерах (маловероятно, чтобы сибарит Бутурлин, который, по слову Пушкина, «путешествовал со всевозможными прихотями», проехал обустроенную крепость и остановился на Гергерском посту), а о Джелал-Оглу (противоположную точку зрения см.: *Сидоров И. С.* «Великая иллюзия» или «мнимая нелепость» (О встрече Пушкина с телом убитого Грибоедова). С. 299–302). Как следует из приведенных ниже документов, некоторое время после превращения Джелал-Оглу в крепость последнюю по инерции иногда называли Гергерами, что объясняет неточность, допущенную Пушкиным.

²⁵³ Письмо К. К. Амбургера И. Ф. Паскевичу от 4 мая 1829 года. Цит. по: *Берже А. П.* Смерть Грибоедова. 1829. Исследование по подлинным документам // *Русская старина*. 1872. № 8. С. 202. См. также: *Пиксанов Н. К.* Летопись жизни и творчества А. С. Грибоедова. С. 148; *Мясоедова Н. Е.* О Грибоедове и Пушкине (Статьи и заметки). СПб., 1998. С. 209.

²⁵⁴ *Эйдельман Н.* Быть может за хребтом Кавказа. М., 2006. С. 212.

²⁵⁵ См. примечание Я. Л. Левкович в кн.: *Пушкин А. С.* Дневники. Записки / Изд. подгот. Я. Л. Левкович. СПб., 1995. С. 38; *Мясоедова Н. Е.* О Грибоедове и Пушкине (Статьи и заметки). С. 217; *Фомичев С. А.* «Грибоедовский эпизод» в «Путешествии в Арзрум» Пушкина // А. С. Грибоедов: Хмелитский сборник. Смоленск, 1998. С. 374–383; Летопись жизни и творчества Александра Пушкина: В 4 т. М., 1999. Т. III: 1829–1832 / Сост. Н. А. Тархова. С. 534, примеч. 42; *Vinuyon T. J.* Pushkin. A Biography. London, 2002. P. 300. Обзор и убедительное опровержение «фикционалистских» аргументов см. в статье: *Сидоров И. С.* «Великая иллюзия» или «мнимая нелепость» (О встрече Пушкина с телом убитого Грибоедова). Основные выводы работы И. С. Сидорова, которые представляются мне верными, были подвергнуты резкой, но, на мой взгляд, безосновательной критике в недавней книге: *Мясоедова Н. Е.* «Подвиг честного человека». СПб., 2004. С. 201–208.

²⁵⁶ См.: *Григорьев В. Н.* Заметки из моей жизни // А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1929. С. 200–203. Одновременно письмо В. Н. Григорьева было напечатано и в другом сборнике: А. С. Грибоедов. Его жизнь и гибель в мемуарах современников / Ред. и примеч. Зин. Давыдова. Л., 1929. С. 221–225.

Тело поставлено было в Армянской церкви, и на другой день повезено далее в Тифлис чрез Эриванскую провинцию. <...> Устроенные по Эриванской дороге карантинные задержки замедлили привезение тела его до последних чисел Июня месяца: с того времени по 18 июля – день, назначенный для погребения, оно находилось в Артачалском Карантине, отстоящем от города в трех верстах²⁵⁷.

Как явствует из этого сообщения, причиной, по которой на перевозку тела Грибоедова от Нахичевани до предместья Тифлиса ушло так много времени (примерно восемь недель), явились чумные карантинные задержки на Эриванской дороге, задержавшие процессию. С. А. Фомичев, единственный «фикционалист», сославшись на письмо Григорьева, счел эту информацию несущественной. По его мнению, тот факт, что Пушкину удалось проехать от Тифлиса до Джелал-Оглу (Гергер) без задержек, указывает, что «10–11 июня 1829 года чумных карантинных между Тифлисом и Гергерами <...> еще не было – иначе бы ему не удалось проделать этот путь так стремительно»²⁵⁸. Доводы С. А. Фомичева опроверг И. С. Сидоров, справедливо отметивший: «Пушкин ехал без задержек не потому, что карантинных не было, а потому, что он ехал из здоровой местности в зараженную, а не наоборот»²⁵⁹. Более того, И. С. Сидорову удалось найти важный документ – докладную записку Тифлисского военного губернатора, генерала-адъютанта С. С. Стрекалова от 31 мая 1829 года, в которой сообщалось:

Тело покойного <Грибоедова> находится ныне в Гергерском карантине. Хотя уже закончился четырнадцатидневный термин к очищению оного, но следующее обстоятельство заставило меня распорядиться, дабы тело оставалось в карантине еще 14 дней. Из числа команды, сопровождавшей гроб в Гергеры, один рядовой занемог подозрительною болезнью²⁶⁰.

К сожалению, мы не знаем, где именно размещался Гергерский карантин в 1829 году. На следующее лето, во время вывода русских войск из Турции, он был устроен в долине у подножья большой горы, на расстоянии одной версты от поста в деревне Гергеры и примерно двенадцати верст от Джелал-Оглу, как об этом рассказывают проводившие в нем две недели американские миссионеры Эли Смит и Харрисон Дуайт²⁶¹. Одновременно с ними карантин

²⁵⁷ Дополнение к статье: Воспоминание о А. С. Грибоедове: Описание последнего долга, отданного ему в Тифлисе. (Письмо из Тифлиса к Булгарину) // Сын отечества и Северный архив. 1830. Т. 9. № 2. С. 91–92.

²⁵⁸ Фомичев С. А. «Грибоедовский эпизод» в «Путешествии в Арзрум» Пушкина. С. 375.

²⁵⁹ Сидоров И. С. «Великая иллюзия» или «мнимая нелепость» (О встрече Пушкина с телом убитого Грибоедова). С. 317. Во втором, более взвешенном варианте статьи С. А. Фомичев учел все конкретные возражения И. С. Сидорова, но не отказался от главного своего тезиса о вымышленности эпизода. Как он пишет в постскрипуме к статье, самым сильным аргументом в пользу этого тезиса, по его мнению, являются данные писавшего непосредственно во время путешествия дневника, где нет упоминаний о встрече с телом Грибоедова (Фомичев С. А. Пушкинская перспектива. М., 2007. С. 453–454). На самом деле этот аргумент весьма слаб, так как никаких пушкинских дневниковых записей, которые соответствовали бы второй – четвертой главам ПВА, вообще не существует. Что же касается короткого и весьма приблизительного итинерария, набросанного в пушкинской путевой тетради и, возможно, представляющего собой первоначальный план путевых записок ([VIII: 1046]; см. о нем: Левкович Я. Л. Автобиографическая проза и письма Пушкина. Л., 1988. С. 125–126), то отсутствие в нем «грибоедовского эпизода» ни о чем не говорит. Легко заметить, что в итинерарии не отражена ни одна дорожная встреча Пушкина между Тифлисом и военным лагерем, хотя в самом ПВА описывается несколько таких встреч (хозяин уединенной сакли, путешествующие татары, женщины в армянской деревне, Бутурлин, армянский поп, казаки в Гумрах, проводник-турок, русский офицер, молодой армянин Артемий и его семья, неграмотный офицер-азиат).

²⁶⁰ Цит. по: Сидоров И. С. «Великая иллюзия» или «мнимая нелепость» (О встрече Пушкина с телом убитого Грибоедова). С. 320.

²⁶¹ Missionary Researches in Armenia: including a Journey through Asia Minor, and into Georgia and Persia, with a visit to the Nestorian and Chaldean Christians of Oormiah and Salmas. By Eli Smith and H. G. O. Dwight, Missionaries from the American Board of Missions. To which is prefixed A Memoir on the Geography and Ancient History of Armenia, by the Author of «The modern Traveller». London. 1834. P. 111–115. (Библиотека Пушкина. С. 339. № 1394). Книга Смита и Дуайта, как установила Н. Е. Мясоедова, послужила Пушкину одним из источников ПВА (см.: Мясоедова Н. Е. «Подвиг честного человека». С. 171–174; Долинин А. Пушкин и Виктор Фонтанье // Европа в России. Сборник статей. М., 2010. С. 123, примеч. 39).

проходили до десяти тысяч солдат и офицеров, так что он должен был занимать очень большую территорию. Скорее всего, годом ранее временный карантин меньшего размера располагался в другом месте, возможно, ближе к Джелал-Оглу. Это подтверждает, в частности, процитированное И. С. Сидоровым свидетельство Н. Н. Муравьева-Карсского, назвавшего в своих «Записках» карантин, где находилось тело убитого Грибоедова, не Гергерским, а Джелал-Оглинским. «Открывавшие гроб в Джелал-Оглинском карантине, — сообщает он, — говорили мне, что оно было очень обезображено...»²⁶² Во всяком случае, докладная записка С. С. Стрекалова развеивает все сомнения относительно правдоподобия пушкинского рассказа: как раз к 10–11 июня истек срок содержания тела Грибоедова в Гергерском (Джелал-Оглинском) карантине, и Пушкин вполне мог столкнуться на дороге с арбой, которая переправляла гроб из карантина в крепость для продолжения пути²⁶³. Если вспомнить, что команда, сопровождавшая тело, следовала только до Джелал-Оглу, то и отсутствие военного караула в таком случае получает объяснение.

Следует отметить также, что о встрече Пушкина с телом Грибоедова современники знали задолго до выхода ПВА, из нижеследующего примечания Ф. В. Булгарина к письму В. Н. Григорьева:

Замечательно, что один из первых Русских, встретивших тело Грибоедова в Российских пределах, был Поэт наш, А. С. Пушкин, на пути своем в Отдельный Кавказский Корпус. Это было в крепости Гергеры, в горах, на границе Персии. Оба Поэта умели ценить дарования друг друга. Ф. В.²⁶⁴

Очевидно, до Булгарина уже в самом начале 1830 года дошли какие-то пушкинские рассказы, в достоверности которых он не усомнился.

Чего на самом деле не было, так это переданного Пушкиным разговора с грузинами, поскольку сопровождающих тело Грибоедова лиц, которые на вопрос «Откуда вы?» ответили бы: «Из Тегерана», не существовало. Из письма В. Н. Григорьева и рассказов очевидцев Пушкин, конечно, знал, что «на Русском берегу Аракса тело переложено было в другой гроб и поставлено на дроги», а «Свиту Персидскую сменил батальон наших войск». Весьма вероятно, что Пушкин, торопясь в армию, просто проехал мимо ничем не примечательной повозки и только задним числом, уже в крепости или в армейском лагере, узнал, какой груз в ней везли. Как бы то ни было, в тексте, написанном шесть лет спустя²⁶⁵, он, отталкиваясь от факта мимо-

²⁶² Из Записок Н. Н. Муравьева-Карсского. 1828–1829 // Русский архив. 1894. № 1. С. 49. Фрагменты «Записок», имеющие отношение к Грибоедову, были перепечатаны в сборниках: А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1929. С. 57–102; А. С. Грибоедов. Его жизнь и гибель в мемуарах современников. С. 108–150; А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980. С. 41–77.

²⁶³ Само описание, кажется, подтверждает наше предположение. Пушкин встречает арбу с телом Грибоедова сразу после того, как он переезжает реку и начинает подниматься к крепости, находившейся на высоком берегу. Арба при этом не спускается ему навстречу, как следовало бы ожидать, а тоже, как и он, подымается «на крутую дорогу» (в «Современнике»: «по крутой дороге»). Это могло произойти лишь в том случае, если она направлялась в крепость из карантина, к которому, очевидно, вела боковая дорога. Тынянов в финале «Смерти Вазир-Мухтара», пытаясь поправить Пушкина, изменил топографию и пространственные координаты сцены, результатом чего явилась полная несуразица. Пушкин у него, переехав мост, начинает спускаться «по отлогой дороге», а навстречу ему поднимается *от крепости на высоком берегу* арба с гробом.

²⁶⁴ Дополнение к статье: Воспоминание о А. С. Грибоедове: Описание последнего долга, отданного ему в Тифлисе. С. 88–89 (примечание Булгарина приведено с мелкими неточностями в сборнике 1929 года «А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников» (см. примеч. 36) и, по нему, в статье: *Фомичев С. А.* «Грибоедовский эпизод» в «Путешествии в Арзрум» Пушкина. С. 380). Булгарин спутал горную крепость Гергеры (Джелал-Оглу) с одноименным персидским селением на реке Аракс, у границы с Россией, откуда тело Грибоедова было 1 мая перевезено на русский берег. Эта ошибка могла создать у заинтересованных читателей впечатление, что Пушкин без разрешения пересекал государственную границу и тем самым поставить его в неприятное положение. Может быть, именно поэтому в ПВА Пушкин использовал название Гергеры вместо более правильного Джелал-Оглу.

²⁶⁵ Гипотеза С. А. Фомичева, предположившего, что «грибоедовский» эпизод «был написан в качестве самостоятельного произведения» еще в 1830 году, для публикации в «Литературной газете» (см.: *Фомичев С. А.* «Грибоедовский эпизод» в «Путешествии в Арзрум» Пушкина. С. 380–383), представляется абсолютно беспочвенной хотя бы потому, что для автографа,

летней дорожной встречи, преобразует его в многозначный художественный образ – в развернутую метафору постыдно пренебрежительного отношения российского государства к трагической гибели Грибоедова, которую по соображениям высшей политики всячески старались замолчать, принизить и, как повелел Николай I, предать «вечному забвению».

В своих записках, написанных в 1832 году, Н. Н. Муравьев-Карсский зафиксировал различные толки о смерти Грибоедова, имевшие хождение в то время:

Иные утверждают, что он сам был виною своей смерти, что он не умел вести дел своих, что он через сие происшествие, причиненное совершенным отступлением от правил, предписанных министерством, поставил нас снова в неприятные сношения с Персией. Другие говорят, что он подал повод к возмущению через свое сластолюбие к женщинам. Наконец, иные ставят сему причиною слугу его Александра... Все же соглашаются с мнением, что Грибоедов, с редкими знаниями и способностями, был не на своем месте. <...> И никто не признал ни заслуг его, ни преданности своим обязанностям, ни полного и глубокого знания своего дела!²⁶⁶

Устанавливая параллелизм между «грибоедовским» эпизодом и описанием осетинских похорон, Пушкин дает понять, что отказ признать в Грибоедове героя, пренебрежительное отношение к его заслугам и «прекрасной смерти» так же чужды европейскому, цивилизованному сознанию, как странное «азиатское» правило хоронить мертвых за тридцать верст от «милого предела».

Как уже отмечалось в литературе о ПВА, Пушкин выстраивает «грибоедовский» эпизод таким образом, чтобы он контрастировал с изображением персидского посольства, встреча с которым описана в первой главе: здесь плетущаяся по горной дороге арба и равнодушные грузины, там – экипажи, верховые лошади, конвойные офицеры²⁶⁷. Байроновский подтекст актуализирует и другой, неявный контраст – с последними почестями, отданными изгнаннику и бунтарю Байрону в родной стране. Несмотря на то, что Байрон, в отличие от Грибоедова, не служил своему правительству, а, наоборот, всячески над ним издевался, его тело было перевезено в Англию из Греции на британском военном корабле и выставлено для прощания в Лондоне, откуда похоронная процессия направилась в байроновское родовое поместье. Как сообщали русские журналы, это было четырехдневное «торжественное шествие», сопровождаемое «бесчисленным множеством народа»²⁶⁸, то есть полная противоположность жалкому зрелищу, изображенному в «Путешествии в Арзрум».

Пушкин имел возможность задуматься о сходствах и различиях двух самых громких поэтических смертей эпохи еще до отъезда из Москвы, на обеде у А. Я. Булгакова 20 марта 1829 года, где дочь последнего Ольга умоляла его не ездить на Кавказ, чтобы не повторить судьбу Байрона. В тот день в Москве, писал А. Я. Булгаков, не было «инога разговора <...> как о Тегеранском происшествии», и неудивительно, что старшей его дочери Екатерине в *pendant* к Байрону вспомнился Грибоедов: «Ах! Не ездите, сказала ему Катя: там убили Грибоедова. – Будьте покойны, сударыня: неужели в одном году убьют двух Александр Сергеевичев? Будет и одного!»²⁶⁹ Чуткий к совпадениям дат, Пушкин должен был обратить внимание на то, что Байрон и Грибоедов умерли в одном возрасте – вскоре после достижения тридцатилетнего

о котором идет речь, использовалась бумага с водяным знаком 1834 года (ПД 1031; de visu).

²⁶⁶ Из Записок Н. Н. Муравьева-Карсского. 1828–1829. С. 43–44.

²⁶⁷ Михельсон В. А. «Путешествие» в русской литературе. Ростов, 1974. С. 28; Фесенко Ю. П. Пушкин и Грибоедов: Два эпизода творческих взаимоотношений // Временник Пушкинской комиссии. 1980. Л., 1983. С. 110.

²⁶⁸ Политические и другие происшествия // Вестник Европы. 1824. № 13. Июль. С. 72.

²⁶⁹ Письма А. Я. Булгакова к его брату, из Москвы в Петербург. 1829 год // Русский архив. 1901. № 11. С. 298 (письмо от 21 марта 1829 года).

тия²⁷⁰. Весной 1835 года, когда Пушкин писал ПВА, ему оставалось всего несколько месяцев до рокового рубежа, и он, надо полагать, сравнивал свою собственную судьбу с судьбами Байрона и Грибоедова, стараясь угадать «тайную волю Провиденья».

Характерно, что биографию Грибоедова Пушкин строит по трехчастной схеме, подчеркивая моменты резкого перехода между стадиями. Молодой Грибоедов – это «лишний человек» с байроническим «озлобленным умом» (читатели «Евгения Онегина» должны были узнать цитату из шестой главы романа²⁷¹), «пылкими страстями» и неуголенным честолюбием, чьи достоинства – «способности человека государственного», «талант поэта» и «холодная и блестящая храбрость» – остаются непризнанными и не востребованными. Затем следует перелом: «Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со своею молодостию и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностью, уехал в Грузию, где пробыл осемь лет в уединенных, неусыпных занятиях» [VIII: 461]. Эта добровольная (по Пушкину) перемена мест и образа жизни приносит свои плоды – Грибоедов привозит из Грузии комедию «Горе от ума», которая «произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами». Признание «таланта поэта» знаменует второй «переворот в его судьбе». За ним следует завидная полоса «непрерывных успехов»: перед Грибоедовым открывается «новое поприще», то есть признаются его «способности человека государственного»; он снова едет в Грузию, женится «на той, которую любил», и, наконец, погибает в Тегеране, «посреди смелого, неровного боя», героической смертью доказывая «блестящую храбрость». Моделью для такого членения, как кажется, была биография Байрона, в которой тоже выделяются три периода, обозначенных двумя резкими поворотами: бегством из Англии на континент и греческой экспедицией, в которой современники видели попытку уйти из литературы и обрести славу на «новом поприще»²⁷². В обеих судьбах, при всем очевидном различии характеров, талантов, обстоятельств и достижений, обнаруживается сходный композиционный рисунок с трагическим финалом, причем и Байрон и Грибоедов уходят из жизни, когда иссякает их творческая сила. В этой связи уместно вспомнить разговор Пушкина с В. А. Ушаковым, который назвал Грузию «врагом нашей Литературы», потому что этот край «лишил нас Грибоедова». «– Так что же? отвечал поэт. Ведь Грибоедов сделал свое. Он уже написал *Горе от Ума*²⁷³». Сам Ушаков увидел «в сем изречении отличного писателя» только «краткую, но верную оценку» комедии, как «венца бессмертия Грибоедова»²⁷⁴. Однако слова Пушкина имели и более глубокий смысл, эксплицированный Тыняновым в финале «Смерти Вазир-Мухтара», где они перифразированы, дополнены и соединены с цитатой из ПВА: «Ему нечего было более делать. Смерть его была мгновенна и прекрасна. Он сделал свое: оставил „Горе от ума“»²⁷⁵. По-видимому, Пушкин действительно считал, что жизнь Грибоедова (и, по

²⁷⁰ Год рождения Грибоедова до сих пор точно не установлен и продолжает оставаться предметом споров (см. подробную сводку сведений и мнений: Фомичев С. А. От редактора // А. С. Грибоедов: Материалы к биографии. Л., 1989. С. 16–19). Однако та информация, которой оперируют современные ученые, Пушкину была недоступна, и он не имел оснований не верить Булгарину, сообщавшему: «Грибоедов родился около 1793-го года» (Булгарин Ф. В. Воспоминания о незабвенном Александре Сергеевиче Грибоедове // Сочинения Фаддея Булгарина. Ч. XII. СПб., 1830. С. 169).

²⁷¹ Автоцитата отмечена в работе: Сидоров И. С. «Здесь увидел я нашего В. ...» (Из наблюдений над текстом «Путешествия в Арзрум» // Московский пушкинист. VIII. М., 2000. С. 177.

²⁷² О том, что «в творческом сознании Пушкина жизненные пути Байрона и Грибоедова ассоциативно связывались», ранее писала Н. Е. Мясоедова, хотя ее аргументация представляется нам неубедительной (см.: Мясоедова Н. Е. О Грибоедове и Пушкине (Статьи и заметки). С. 214).

²⁷³ В. У[шаков]. Русский театр. *Чортова мельница*, волшебная опера в 4-х действиях; *Муж и жена*, комедия-водевиль в 1-м действии; *Московский бал*, третье действие из комедии: *Горе от ума* (бенефис Г-жи Н. Репиной) // Московский телеграф. 1830. Часть XXXIII. № 12 (июль). С. 515.

²⁷⁴ Там же. С. 514, 515.

²⁷⁵ Тынянов Ю. Кюхля. Смерть Вазир-Мухтара. Л., 1971. С. 742. Источник указан в работе: Левитон Г. А. Грибоедовские подтексты в романе «Смерть Вазир-Мухтара» // Тыняновский сборник. Четвертые тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 31, примеч. 11.

аналогии, Байрона) закончилась тогда, когда ей следовало закончиться – на пике успеха, когда поэт, выполнив свое историческое предназначение, перестает быть поэтом.

В пушкинской версии жизни Грибоедова нередко усматривают автобиографическую проекцию. «Мысль о схожести своей судьбы с судьбой Грибоедова не могла не возникнуть у Пушкина», – утверждают, например, П. С. Краснов и С. А. Фомичев в комментариях к «грибоедовскому» эпизоду²⁷⁶. Согласно Н. Я. Эйдельману,

Пушкин думал о себе, о своей судьбе и сопоставлял ее с грибоедовской. Глубокий биографический подтекст получают слова о женитьбе «на той, которую любил», о завидных последних годах бурной жизни. Здесь – сожаление о своих бурно прошедших годах и сегодняшнем тягостном петербургском плене. Грибоедов умел расчесться, начать новую жизнь, покинуть столицу – Пушкин не может. <...> Наконец, предчувствие собственной скорой гибели – и странный гимн грибоедовской смерти (посреди «смелого неровного боя», «ничего ужасного, ничего томительного», «мгновенна и прекрасна»). Эти слова, представленные читателям за год до последней пушкинской дуэли, выдают потаенные мечтания поэта²⁷⁷.

М. Гринлиф относит к Пушкину его упоминание о «странных предчувствиях», мучивших Грибоедова перед отъездом в Персию, и интерпретирует «грибоедовский эпизод» как встречу автора с самим собой в образе «другого», чьей гибели он завидует²⁷⁸. Иной точки зрения придерживался Х. Рам, писавший:

Судьба Грибоедова во всех смыслах представляет собой полную противоположность судьбе Пушкина: Грибоедов уехал из России, тогда как Пушкину пришлось удовлетвориться ограниченным экзотизмом приграничного русского Юга; Грибоедов оставил после себя всего лишь несколько законченных произведений, тогда как «Путешествие в Арзрум» само по себе является свидетельством творческой силы Пушкина; Грибоедов был государственным чиновником, тогда как Пушкин стремился к творческой независимости²⁷⁹.

Эти интерпретации можно совместить, если учесть, что ПВА есть сложно построенный текст, предлагающий читателю двойную стратегию чтения в двух временных перспективах. С одной стороны, Пушкин выдает его за путевые записки, написанные непосредственно во время путешествия. Отсюда – бросающаяся в глаза фрагментарность текста, единицей которого, как показала К. Поморска, является дискретный абзац-эпизод²⁸⁰; отсюда – имитация дневниковой скорописи, синхронной изображению (особенно в военных описаниях). В данной временной перспективе может показаться, что автор записок, по известному определению Ю. Н. Тынянова, – «никак не „поэт“, а русский дворянин»²⁸¹, и что само путешествие для Пушкина – это крутой поворот судьбы, подобный уходам из поэзии на «новое поприще» Байрона и Грибоедова. Как и Байрон, он торопится на войну; вослед Грибоедову едет по тем же кавказским дорогам, останавливается в Тифлисе и несколько раз чудом спасается от «мгновенной смерти».

²⁷⁶ А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980. С. 405.

²⁷⁷ Эйдельман Н. Я. Быть может за хребтом Кавказа. С. 232–233.

²⁷⁸ Greenleaf M. Pushkin and Romantic Fashion. Fragment, Elegy, Orient, Irony. Stanford University Press, 1994. P. 153–154.

²⁷⁹ Rum H. Pushkin and the Caucasus // The Pushkin Handbook / Ed. by D. M. Bethea. Madison, Wisconsin, 2005. P. 397–398.

²⁸⁰ См.: Pomorska K. The Segmentation of Narrative Prose // Pomorska K. Jakobsonian Poetics and Slavic Narrative: From Pushkin to Solzhenitsyn / Ed. by H. Baran. Durham; London, 1992. P. 22–23.

²⁸¹ Тынянов Ю. Н. О «Путешествии в Арзрум» // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 203.

При чтении ПВА как спонтанного дневника «грибоедовский» эпизод действительно приобретает некоторую автобиографическую зеркальность.

С другой стороны, Пушкин пишет ПВА через шесть лет после самой поездки, когда она представляется ему совсем в другом свете, нежели в 1829 году, – не крутым поворотом, а лишь интерлюдией, не имевшей никаких судьбоносных последствий. В ретроспекции становится очевидно, что трехчастная схема, которую он выявляет в биографиях Байрона и Грибоедова, к его собственной судьбе неприменима, ибо после возвращения из ссылки она складывалась эволюционно, без резких переломов, как ряд последовательных изменений во времени. В статье «Александр Радищев» Пушкин писал:

Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж, со вздохом или с улыбкою, отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и молоджавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют [XII: 34].

Именно так, «со вздохом или с улыбкою», смотрит на себя прежнего и на свои «моложавые мысли» скрытый автор ПВА, который, в отличие от «путешественника», – прежде всего поэт, а потом уже «русский дворянин»²⁸². На его присутствие сразу же указывает полное заглавие текста «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» (оно не только устанавливает дистанцию между временем написания и изображенными событиями, но и перекликается с «Пиром во время чумы»), а также поглавные перечни эпизодов или, в терминологии Ж. Женетта, интертитуты, которые разрушают иллюзию спонтанности²⁸³. О том, что Пушкин, в отличие от Байрона и Грибоедова, сохраняет верность старому поприщу, свидетельствует ряд особенностей поэтики ПВА: автоаллюзии (на «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», «Отрывок из письма к Д.», «Полтаву», «Евгения Онегина», «Пир во время чумы»); метрические вкрапления, отмеченные выше; поэтические вставки – вольный перевод грузинской песни (глава II)²⁸⁴, любопытное двестишье «Ночи знойные! / Звезды чуждые!..» (глава II), написанное так называемым «кольцовским пятисложником»²⁸⁵, и «Стамбул гяуры нынче славят» (глава V). Недаром финал текста, где осмеиваются нападки Надеждина на «Полтаву», возвращает нас к пушкинской литературной биографии.

²⁸² Ср. замечание М. Н. Виролайнен о том, что в ПВА ощущим «навык отстраненного, отчужденного взгляда на самое себя» (Виролайнен М. Н. «Я» и «не-я» в поэтике Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 16–17. СПб., 2003. С. 101).

²⁸³ Интертитуты, целиком состоящие из номинативных предложений, как у Пушкина, Ж. Женетт считает отличительным признаком мемуаров (см.: Genette G. Paratexts. Thresholds of Interpretation. Cambridge University Press, 2001. P. 310).

²⁸⁴ Об источнике перевода см.: Модзалевский Л. Б., Дондуа В. Д. Запись грузинской песни в архиве Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. [Вып.] 2. М.; Л., 1936. С. 297–301.

²⁸⁵ Ю. Н. Тынянов (см. его комментарии к ПВА в: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 6 т. / Под ред. М. А. Цявловского. М.; Л., 1936. Т. IV. С. 790) считал двестишье реминисценцией начальных стихов «Черных очей» (1828) П. А. Вяземского: «Южные звезды! Черные очи! / Неба чужого огни!» (Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1986. С. 221). Любопытно, что, поменяв местами определяемые слова и определения в первом стихе «Черных очей», мы получаем «кольцовский» пятисложник, напоминающий знаменитые «Очи черные» (1841) Е. П. Гребенки. Пушкин впервые использовал этот размер в песне Ксении Годуновой, исключенной из печатной редакции «Бориса Годунова»: «Что ж уста твои / Не промолвили, / Очи ясные / Не проглянули? / Аль уста твои / Затворились, / Очи ясные / Закатались?..» [VII: 267]. Метрической моделью ему, очевидно, послужила народная песня «Как за церковью, за немецкою...», записанная в Михайловском (см.: Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты / Подгот. к печати и коммент. М. А. Цявловского, Л. Б. Модзалевского, Т. Г. Зенгер. М.; Л., 1935. С. 456). Обращает на себя внимание и метрическая и лексическая параллель с началом поэмы Н. А. Львова «Добрыня»: «О, темна, темна ночь осенняя! / Не видать в небе ни одной звезды...» (Львов Н. А. Избранные сочинения / Вступ. ст., составление, подгот. текста и коммент. К. Ю. Лаппо-Данилевского. СПб., 1994. С. 192). Известно, что два стиха из этой поэмы («Разные народы / Кашу разную варят» (Там же. С. 201)) Пушкин перифразировал в кавказских путевых записках 1829 года: «Разные народы разные каши варят» (VIII: 1028); см.: Клейман Н. «О кашах пренья...» (Опыт текстологического анализа) // Болдинские чтения [1981]. Горький, 1982. С. 101–102). В отличие от всех метрических претекстов, двестишье из ПВА лишено фольклорного колорита и больше походит на начало романса, как у Е. Гребенки. Отметим, что оно входит в эпизод с интертитулом «Грузинская ночь», повторяющим заглавие несохранившейся (и, кажется, неудачной) трагедии Грибоедова.

Более того, в ПВА Пушкин вводит нас в свою поэтическую лабораторию, исподволь отсылая к уже опубликованным стихотворениям «кавказского цикла» («Калмычке», «Обвал», «Кавказ», «На холмах Грузии», «Делибаш», «Из Гафиза», «Монастырь на Казбеке», «Дон») ²⁸⁶ и показывая, как обыкновенные дорожные и военные впечатления преобразуются во вторую, иначе устроенную реальность поэзии. Каждому из вышеупомянутых стихотворений цикла соответствует определенное прозаическое описание, в котором повторяются ключевые слова поэтического текста, но сопоставление двух версий всякий раз выявляет существенные различия между ними. Так, например, если в ироническом послании «Калмычке» «взор и дикая краса» любезной дикарки пленяют ум и сердце поэта и он чуть было не бросается вслед за ее кибиткой, то в ПВА «калмыцкое кокетство» «степной Цирцеи» его пугает и он торопится уехать прочь от нее; если в «Кавказе» поэт поднимается на такую заоблачную вершину, с которой ему, несмотря на идущие под ним тучи, видны обе стороны кавказского хребта – южная, грузинская («где мчится Арагва в тенистых берегах») и северная («где Терек играет в свирепом весельи»), то самая высокая точка ПВА – это Крестовый перевал и Гуд-Гора, с которой, как пишет Пушкин, открывается лишь одна сторона: «Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента» [VIII: 454] и т. п. Особый интерес представляет прозаическая параллель к «Обвалу» – рассказ Пушкина о запрудившем Терек обвале 1827 года, через который он якобы проехал [VIII: 453], – поскольку на самом деле никаких крупных обвалов, следы которых сохранялись бы два года спустя, в 1820-е годы вообще не было: поэтический вымысел подкрепляется вымыслом прозаическим, загроможденным под свидетельство очевидца.

Благодаря двойной фокусировке, между стихотворениями кавказского цикла и ПВА устанавливаются диалогические отношения взаимовосполнения. Как великолепно показал П. Бицилли, основной темой ПВА является «тема самой Жизни, ее субстанциональной основы, понятой так же, как у Шопенгауэра, не знающей отдыха воли, ведущей ко все новым и новым – разочарованиям» ²⁸⁷. Разочарования соседствуют с многочисленными *memento mori*. Первым «замечательным местом» своего путешествия Пушкин называет крепость Минарет, близ которой расположены «могилы нескольких тысяч умерших чумой» [VIII: 448]; заканчивается оно в зачумленном Арзруме. Кроме неизвестного осетина и Грибоедова, в ПВА упоминаются и другие безвременно умершие: погибшие в сражениях русские и турецкие солдаты, генералы Сипягин и Бурцов, драгун, утонувший в кувшине с вином, жертвы горного обвала. В «Дорожных жалобах» (которые должны были, согласно пушкинскому плану 1836 года, открывать «кавказский цикл») Пушкин полушутя предсказывал себе внезапную гибель «на большой дороге», а в «Путешествии», напротив, отмечал те точки своего странствования, где подобная гибель его миновала: на берегу Терека от пули осетинского разбойника, на Крестовой горе от снежной лавины, на поле боя в перестрелке или под копытами сводного уланского полка, когда его лошадь чуть не упала при спуске в овраг, на крыше турецкой сакли от взрыва пороха, в Арзруме от чумы. Сразу же после «грибоедовского эпизода» в текст как бы невзначай вводится слово «Провидение», когда Пушкин пишет о своем решении продолжать путь, невзирая на бурю и ливень: «Я затянул ремни моей бурки, надел башлык на картуз и поручил себя Провидению» [VIII: 462]. Упоминание о Божьем промысле появляется и в сцене кавалерийской атаки: «Конница наша была впереди; мы стали спускаться в овраг; земля обрывалась и сыпалась под конскими ногами. Поминутно лошадь моя могла упасть, и тогда <сводный> уланский полк переехал бы через меня. Однако Бог вынес» [VIII: 469]. Последнюю фразу можно отнести и ко всему путешествию в целом. Как кажется, Пушкин видел в благополучном завершении

²⁸⁶ О «кавказском цикле» см.: Измайлов Н. В. Лирические циклы в поэзии Пушкина конца 20–30-х годов // Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975. С. 219–223; Слинина Э. В. Лирический цикл А. С. Пушкина «Стихи, сочиненные во время путешествия (1829)» // Пушкинский сборник. Сборник научных трудов. Л., 1977. С. 3–15.

²⁸⁷ Бицилли П. «Путешествие в Арзрум». С. 255.

опасного пути, по контрасту с судьбой Грибоедова, некий провиденциальный знак благоволения, награду за верность своему поэтическому дару, подобно тому, как в том же 1835 году он в черновике «Вновь я посетил...» ретроспективно осмыслил свою михайловскую ссылку как провиденциальное спасение:

[Но здесь меня таинственным щитом
Святое Провиденье осенило,
Поэзия, как ангел-[утешитель], —
Спасла меня; и я воскрес душой]

[III: 996]²⁸⁸.

В этой связи обращает на себя внимание предельная скупость пушкинских оценок Грибоедова как поэта. Восхищаясь последними годами бурной жизни Грибоедова и его героической смертью «посреди смелого, неровного боя», Пушкин не упоминает никаких его литературных произведений, кроме «Горе от ума», и ничего не говорит о том, что Грибоедову не удалось закончить работу над трагедией «Грузинская ночь», хотя сцены из нее он слышал в 1828 году в Петербурге. Этим «грибоедовский эпизод» резко отличается от болгаринских характеристик «незабвенного Александра Сергеевича Грибоедова» с которыми, как давно установлено, Пушкин вступил в прямую полемику²⁸⁹. В воспоминаниях о Грибоедове Булгарин отмечает его перевод пролога к Фаусту, хвалит «прекрасное стихотворение на балет Руслан и Людмила» и «прелестное стихотворение „Хищники на Чегеме“»²⁹⁰, но особенно выделяет «Грузинскую ночь». Если б трагедия была окончена, — пишет он, —

она составила бы украшение не только одной русской, но и всей европейской литературы. Грибоедов читал нам наизусть отрывки, и самые холодные люди были растроганы жалобами матери, требующей возврата сына у своего господина. <...> Н. И. Греч, услышав отрывки из этой трагедии и ценя талант Грибоедова, сказал в его отсутствии: «Грибоедов только попробовал перо на комедии «Горе от ума». Он займет такую степень в литературе, до которой еще никто не приближался у нас: у него, сверх ума и гения творческого, есть — душа, а без этого нет поэзии!»²⁹¹

У Александра Сергеевича Световидова — персонажа романа Булгарина «Памятные записки титулярного советника Чухина» (1835), очевидным прототипом которого был Грибоедов, — «пиитическая душа». Световидов/Грибоедов, по Булгарину, «был философ, поэт, музы-

²⁸⁸ Ср.: *Сурат И.* О гибели Пушкина // Сурат И. Вчерашнее солнце. О Пушкине и пушкинистах. М., 2009. С. 49–50.

²⁸⁹ См. комментарии П. С. Краснова и С. А. Фомичева в сборнике: А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980. С. 406; *Фесенко Ю. П.* Пушкин и Грибоедов: Два эпизода творческих взаимоотношений. С. 108–109.

²⁹⁰ Е. Г. Эткинд считал, что образность первой строфы этого стихотворения, написанного от лица воинственных горцев, которые обращаются к русским завоевателям, «предсказывает» пушкинский «Кавказ», так как у Грибоедова горцы, как и лирический герой у Пушкина, находятся на высокой вершине и уподобляются орлу («Как ни крепки вы стенами, / Мы над вами, мы над вами, / Будто быстрые орлы / Над челом крутой скалы»). «Нельзя ли прочесть в „балладе“ Пушкина „Кавказ“ своеобразный разговор с Грибоедовым? — спрашивает Эткинд. — А, может быть, даже стихотворение, посвященное его памяти?» (*Эткинд Е.* Симметрические композиции у Пушкина. Париж, 1988. С. 61). На вопрос исследователя едва ли можно ответить утвердительно, так как горные вершины и летающие вокруг них орлы — это клише «кавказской» поэзии (ср., например, в «Кавказском пленнике»: «Как часто пленник над аулом / Недвижим на горе сидел! / У ног его дымились тучи, / В степи вздымался прах летучий; <...> Орлы с утесов поднимались / И в небесах перекликались» [III: 98–99]), а никаких других параллелей между «Кавказом» и «Хищниками на Чегеме» не обнаруживается. С другой стороны, обращает на себя внимание совпадение метра «Хищников на Чегеме» и пушкинского «Делибаша», причем оба текста содержат апострофу с одним и тем же рифменным словом (ср. «Тут утес: — берите с бою» и «Эй, казак, не рвися к бою»), а их начальные стихи рифмуются между собой (ср.: «Окопайтесь рвами, рвами!» и «Перестрелка за холмами», см.: *Грибоедов А. С.* Сочинения / Под ред. Фомичева. С. 342; [III: 199]).

²⁹¹ *Булгарин Ф. В.* Воспоминания о незабвенном Александре Сергеевиче Грибоедове. С. 185, 200.

кант, артист, филолог, историк; он был все, занимался всем, но делал все как поэт. Поэзия владычествовала его умом и душой»²⁹².

Как свидетельствуют умолчания в «грибоедовском эпизоде», Пушкин отнюдь не разделял восторгов Булгарина по поводу «творческого гения» и «пиитической души» автора «Горя от ума». Для него Грибоедов был умницей, честолюбцем, храбрецом, крупной исторической личностью, талантливым «драматическим писателем», автором одной «прелестной комедии», но никак не «наперсником богов», которого защищает «их промысел высокий и святой». Известно, что даже в «Горе от ума» он, отдавая должное «мастерским чертам» и «смешному в стихах» [XIII: 138, 137], находил существенные изъяны²⁹³, а в 1830-е годы считал грибоедовское сатирическое бытописание устаревшим²⁹⁴.

В контексте ПВА завершенная, дописанная до конца жизнь Грибоедова противопоставляется открытому жизненному пути Пушкина как судьба трагической жертвы «пылких страстей и могучих обстоятельств» – судьбе поэта.

²⁹² Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина. Новое, сжатое (компактное) изд., испр. и умноженное. Т. 3. СПб., 1843. С. 121, 29.

²⁹³ Пушкинские критические оценки «Горя от ума» всегда смущали советских литературоведов, которые многократно пытались найти им разнообразные идеологически и эстетически приемлемые объяснения. См., например: *Лукасова Г. А.* Пушкин и Грибоедов (К вопросу об оценке Пушкиным комедии «Горе от ума») // Пушкин в школе. М., 1951. С. 112–141; *Городецкий Б. П.* К оценке Пушкиным комедии Грибоедова «Горе от ума» // Русская литература. 1970. № 3. С. 21–36; *Фесенко Ю. П.* Пушкин и Грибоедов. С. 101–106; *Фомичев С. А.* Автор «Горя от ума» и читатели комедии // А. С. Грибоедов. Творчество. Биография. Традиции. Л., 1977. С. 15–17.

²⁹⁴ См. об этом: *Вацуро В. Э.* Пушкин и проблемы бытописания в начале 1830-х годов // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 6. Л., 1969. С. 150–170.

КАВКАЗСКИЕ ВРАТА ДАРЬЯЛЬСКОЕ УЩЕЛЬЕ В «ПУТЕШЕСТВИИ В АРЗРУМ ВО ВРЕМЯ ПОХОДА 1829 ГОДА»

*...в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад...*

Б. Пастернак

Мало кто из путешественников, проехавших в первую половину XIX века по Военно-Грузинской дороге, не описал в отчетах, записках или дневниках знаменитое Дарьяльское ущелье и развалины одноименной древней крепости. Одним из немногих, как ни странно, был Пушкин, впервые увидевший Дарьял в мае 1829 года, по пути в Тифлис. Когда два месяца спустя он записал по памяти свои впечатления от участка дороги между Владикавказом и спуском в долины Грузии, проезд по Дарьяльскому ущелью остался вообще не отмеченным. Именно к нему, видимо, можно отнести слова:

Едва прошли одни сутки, уже шум Терека, уже его беспорядочное течение, уже утесы и пропасти не привлекали моего внимания. – Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно владело мною²⁹⁵.

Перерабатывая путевые записки в очерк «Военная Грузинская дорога», опубликованный в феврале 1830 года в «Литературной газете», Пушкин вставил упоминание о «мрачном Дарьяльском ущельи» в предшествующий абзац²⁹⁶, но описывать живописный горный пейзаж не стал. Клаустрофобические образы «ущелья мрачных скал» и «горных стен» появляются у него лишь в черновых поэтических набросках на кавказские темы, из которых прежде всего следует отметить крайне выразительный, редкий по строфике и метрике²⁹⁷ набросок:

Страшно и скучно
Здесь новоселье,
Путь и ночлег.
Тесно и душно
В диком ущелье —
Тучи да снег.
Небо чуть [видно],

²⁹⁵ Цит. по транскрипции Я. Л. Левкович в ее книге: Автобиографическая проза и письма Пушкина. Л., 1988. С. 135.

²⁹⁶ Литературная газета А. С. Пушкина и А. А. Дельвига. 1830 год. № 1–13. М., 1988. С. 109.

²⁹⁷ Двустопный дактиль с катаlecticескими окончаниями ЖЖМЖЖМ. В терминах современного Пушкину стиховедения размер отрывка описывается как сочетание адонических стихов (двустопный дактиль с женским окончанием) и хорямбов (двустопный дактиль с мужским окончанием). См., например, статью «Адонический» в «Словаре древней и новой поэзии» Н. Ф. Остолопова (СПб., 1821. С. 3), где рекомендуется «для лучшей гармонии <...> на Русском языке перемешивать сии стихи с заключающими дактиль и один долгий слог, или, что все равно, с хорямбом». В неоклассической традиции адонический стих, как правило, заключает сапфическую строфу (см., например, «Видение в майскую ночь» А. Х. Востокова), но русская поэзия XVIII века знает и стихотворения, целиком написанные двустопными дактилями. Среди них отметим в первую очередь «Пчелку» (1794) и особенно «На кончину Великой княжны Ольги Павловны» (1795) Г. Р. Державина, где первые шесть стихов в ряде строф чередуются и рифмуются по той же схеме, как и у Пушкина («Вижу в сиянье / Грады эфира, / Солнцы кругом! / Вижу собранье / Горнего мира; / Ангелов сонм» и т. п. — Державин Г. Р. Стихотворения. М., 1958. С. 147). До «Страшно и скучно» двустопный дактиль встречается у Пушкина только в лицейских стихах, где он связан с эротической и анакреонтической семантикой — в двух строфах полиметрической кантаты «Леда» (1814), в «Изменах» (1815) и в «Заздравном кубке» (1816). Соответствующие строфы «Леды» и «Измен» имеют ту же схему рифмовки, что и набросок: АБвАБв.

[Солнце не светит]
Как из тюрьмы²⁹⁸.

Вне всякого сомнения, Пушкин подразумевал Дарьял, известный прежде всего своей узостью, темнотой и глубиной, тем более что в черновике имеется вариант «В мрачном ущелье» [III: 798], повторяющий эпитет «мрачный», данный Дарьяльскому ущелью в очерке «Военная Грузинская дорога». Но это, конечно же, не пейзажная зарисовка, а попытка передать чувство страха и уныния, охватывающее путника в тесном и темном пространстве, которое Пушкин уподобляет тюрьме²⁹⁹. О. А. Проскурин правомерно ставит набросок в один ряд с «Бесами», где, по его точному наблюдению, повторяется почти тот же набор мотивов и опорных слов-символов³⁰⁰. Как и в «Бесах», в наброске поэт находит «объективный коррелят» экзистенциальной тоске, а путь по «дикому» кавказскому ущелью – подобно блужданиям «среди неведомых равнин» – легко осмысливается как метафора жизненного и духовного странствия, ведущего к ночлегу-смерти³⁰¹. Сама структура законченной строфы, в которой отсутствуют глаголы и четыре из шести коротких стихов состоят из пары знаменательных слов, соединенных союзом «и» или «да», иконически реализует мотивы сжатости, узости, тесноты, характеризующие состояние духа лирического героя.

К сожалению, Пушкин не довел до конца свой оригинальный замысел. Во всем цикле завершенных кавказских стихотворений его отголосок звучит лишь один раз – в «Монастыре на Казбеке», где, как заметил В. В. Виноградов³⁰², подразумевается контраст между вертикальным духовным путем вверх, в «соседство Бога», и отрицаемым дольным путем, обозначенным единственным словом «ущелье»:

Далекий, вожденный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!..

[III: 200]

К дарьяльским образам Пушкин снова обратился только через шесть лет после кавказского путешествия, в 1835 году, и уже не в поэзии, а в прозе. Редактируя свои путевые записки для первой главы «Путешествия в Арзрум», он сделал большую вставку в старый текст, начинающуюся с пассажа о Дарьяльском ущелье:

В семи верстах от Ларса находится Дарьяльский пост. Ущелье носит то же имя. Скалы с обеих сторон стоят параллельными стенами. Здесь так

²⁹⁸ Я привожу текст наброска по рукописи. Фактически Пушкин написал только одну строфу и начал вторую, для которой не нашел рифм. Попытки редакторов полностью или частично составить ее из зачеркнутых Пушкиным стихов следует признать крайне неудачными. В большом академическом собрании нарушена схема строфы: Небо чуть видно, Как из тюрьмы. Ветер шумит. [Солнцу обидно] [III: 203] а в малом, десятичном, получилась бессмыслица с неверной рифмовкой: Солнце не светит. Небо чуть видно, Как из тюрьмы. Солнцу обидно. Путник не встретит. Окроме тьмы (Пушкин А. С. «Страшно и скучно...» // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л., 1977. Т. 3. С. 152).

²⁹⁹ О «страшной» атмосфере в наброске см.: Муравьева О. С. Об особенностях поэтики пушкинской лирики // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 13. Л., 1989. С. 26.

³⁰⁰ Проскурин О. А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999. С. 236.

³⁰¹ Символика «пути и ночлега» разрабатывается в более поздних стихотворениях Пушкина, темой которых является смерть: «Стою печален на кладбище...» (1834; ср.: «И мимо вечного ночлега / Дорога сельская лежит» [III: 333]), «Странник» (1835; ср.: «Пошел я вновь бродить – уныньем изнывая / И взоры вкруг себя со страхом обращая, / Как узник, из тюрьмы замысливший побег, / Иль путник, до дождя спешащий на ночлег» [III: 392]) и набросок «Чудный сон мне Бог послал...» (1835; ср.: «Путник – ляжешь на ночлеге / В <гавань><?>, плаватель, войдешь» [III: 445]).

³⁰² См.: Виноградов В. В. Язык Пушкина. М., 2000. С. 172.

узко, так узко, пишет один путешественник, что не только видишь, но кажется чувствуешь тесноту. Клочок неба, как лента, синее над вашей головою. Ручьи, падающие с горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоминали мне похищение Ганимеда, странную картину Рембранда. К тому же и ущелье освещено совершенно в его вкусе [VIII: 451].

«Мрачное ущелье» Пушкин ретроспективно ассоциирует с Рембрандтом, художником, который считался исключительно мрачным. Так, Кюхельбекер в очерке о Дрезденской галерее, опубликованном в 1824 году в «Мнемозине», писал:

Пламенное, мрачное воображение Рембранта также знакомо с полетом поэзии, но в нем восторг мутен, как мутны краски его <...> Между его произведениями нет ни одного вовсе без достоинства; но мрачные его краски, его неверная рисовка, его мутное воображение оставляют по себе одно туманное воспоминание³⁰³.

Обращаясь к Рембрандту, юный Лермонтов в 1830 году восклицает:

Ты понимал, о мрачный гений,
Тот грустный безотчетный сон,
Порыв страстей и вдохновений,
Все то, чем удивил Байрон³⁰⁴.

Говоря о рембрандтовском освещении Дарьяльского ущелья, Пушкин, конечно же, имеет в виду общеизвестное – знаменитый контраст глубоких теней и ярко освещенных фигур и деталей на полотнах «Шекспира живописи», как назвал Рембрандта Гюго в «Соборе Парижской Богоматери»³⁰⁵. Это одновременно весьма точное наблюдение (свет в ущелье проникает только через узкую щель между стен, напоминая об излюбленной технике «мученика светотени»³⁰⁶) и своего рода метакомментарий, показывающий, что Пушкин осознавал сходство своей поэтики динамических контрастов³⁰⁷ с живописным кьяроскуро. Однако конкретная отсылка к «Похищению Ганимеда» (1635) Рембрандта – картине, которая замечательна не световыми контрастами, а необычной трактовкой мифологического сюжета, – не укладывается в предложенную матрицу и требует отдельного рассмотрения.

Аллюзии такого рода представляют собой свернутый экфрасис, и задача читателя заключается в том, чтобы его развернуть, причем эта развертка должна быть приближена к тем представлениям о произведении искусства, которые входили в культурную энциклопедию автора и его современников. В данном случае речь не идет о непосредственном впечатлении, так как «Похищение Ганимеда» находилось (и находится) в Дрезденской галерее, и Пушкин мог знать ее только по гравюрам и доступным ему описаниям. Описаний этих было не так много, потому что рембрандтовская трактовка античного мифа о похищении Ганнимеда Зевсом в облике орла (или зевесовым орлом) оскорбляла классический художественный вкус и считалась не вполне

³⁰³ Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи / Изд. подгот. Н. В. Королева, В. Д. Рак. Л., 1979. С. 20.

³⁰⁴ Лермонтов М. Ю. Полное собрание стихотворений: В 2 т. Л., 1989. Т. 1. С. 160.

³⁰⁵ Гюго В. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1972. Т. 3. С. 265. Гюго заимствовал формулу у французского критика Жана-Франсуа Собрини. Ср.: «Reimbrandt est le Shakespear de la peinture; Shakespear est le Reimbrandt de poesie» (*Sobry J. F. Poétique des arts, ou Cours des peinture et de littérature comparées*. Paris, 1810. P. 214).

³⁰⁶ Ср. замечание Д. Дидро: «Мне кажется, что Рембрандту следовало бы подписать под всеми своими композициями: „Per foramen videt et pinxit“ <Видит через щель и рисует>. Без этого непонятно, каким образом такие глубокие тени могут окружать фигуры, освещенные с такой силой и яркостью» (*Дидро Д. Отдельные мысли о живописи, скульптуре, архитектуре и поэзии* // Дидро Д. Об искусстве. Т. 1. М.; Л., 1936. С. 195).

³⁰⁷ О динамическом принципе контрастов, определяющем поэтику «Путешествия в Арзрум», см.: Бицилли П. «Путешествие в Арзрум» // Белградский пушкинский сборник. Под ред. Е. В. Аничкова. Белград, 1937. С. 259.

приличной. Вопреки традиции, Ганимед у Рембрандта – не «отрок прекрасный» и «прекраснейший сын человеков» («Илиада»), а пухлый ребенок с голым задом, выпроставшимся из-под задранной рубахи. Огромный черный орел тащит его ввысь, взмыв в воздух над какой-то башней, и от страха Ганимед ревет и писает на покинутую им землю. Именно со струей мочи Пушкин сравнивает падающие с высоты ручьи в Дарьяльском ущелье³⁰⁸, над которым, как у Рембрандта, видны «развалины крепости»; именно необычный образ писающего Ганимеда заставляет его назвать картину странной. Похожее мнение о «Похищении Ганимеда» еще до Пушкина высказал известный скульптор С. И. Гальберг, которого одно время считали адресатом стихотворения «Художнику» («Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую...», 1836)³⁰⁹; его же разделяют и современные искусствоведы. Так, Маргарита Рассел начинает свою статью «Иконография „Похищения Ганимеда“» с констатации: это, «вероятно, самая странная из картин Рембрандта, которая до сих пор не получила удовлетворительного истолкования»³¹⁰.

Странности «Ганимеда» явно смущали ценителей живописи XVIII – первой трети XIX века. Характерно, что в подробном описании Дрезденской галереи Кюхельбекера картина вообще не упомянута. Характерен и краткий уничижительный отзыв английского путешественника Джона Густава Леместра: «*Похищение Ганимеда* – знаменитая картина, но в очень дурном вкусе. Ганимед изображен мальчиком пяти или шести лет; он плачет и демонстрирует определенные симптомы страха, которые, как бы естественны они ни были, неприятно видеть и неприлично назвать»³¹¹. Суждение Леместра едва ли было Пушкину известно, но он мог знать похожую, хотя в целом комплиментарную оценку Дени Дидро, писавшего в «Отдельных мыслях о живописи, скульптуре, архитектуре и поэзии»:

Я видел «Ганимеда» Рембрандта; он вульгарен: страх ослабил мышцы его мочевого пузыря; он непристоен: орел, поднимающий его за рубашку, заголил ему задницу; но рядом с этой небольшой картиной меркнет все, что ее окружает. С какой силой кисти, с какой неистовой выразительностью написан этот орел!³¹²

Романтический вкус в еще большей степени был готов ценить «Ганимеда» Рембрандта за естественность и выразительность изображения, игнорируя низкий мотив мочеиспускания. В многотомном компендиуме Ревейя и Дюшена «Музей живописи и скульптуры, или Собрание основных картин, статуй и барельефов из общественных и частных коллекций Европы» (вышедшем в конце 1820 – начале 1830-х годов) гравюра с картины напечатана вообще без струи урины, которая не упомянута и в сопутствующем описании, где миметическое мастерство художника связывается с его «неученостью», то есть с неприятием классической традиции:

Рембрандт, вместо того чтобы выставить напоказ ученость, над ней, кажется, в некотором роде насмехается. Известно, что, показывая на какие-то ржавые доспехи в своей мастерской, он говорил: «Вот мои антики».

³⁰⁸ Впервые объяснение аллюзии было дано в статье Абрама Эфроса «Изобразительное искусство и Пушкин» (Путеводитель по Пушкину. М.; Л., 1931. С. 148–152).

³⁰⁹ Эвальд Ф. Скульптор Самуил Иванович Гальберг в его заграничных письмах и записках. СПб., 1884. С. 31. См.: Кока Г. М. Стихотворение Пушкина «Художнику» // Временник Пушкинской комиссии, 1970. Л., 1972. С. 100–109. Автор статьи полагает, что причиной совпадения оценок «Похищения Ганимеда» «могла быть встреча Пушкина с Гальбергом, вернувшимся в Петербург в 1828 году после десятилетнего пребывания в Италии, и беседа о заграничных впечатлениях художника» (с. 102), хотя никаких сведений об этой гипотетической встрече не существует. Скорее, речь идет об одинаковой реакции двух современников на образ Ганимеда-ребенка, расходящийся с традицией.

³¹⁰ Russell M. The Iconography of Rembrandt's «Rape of Ganymede» // Netherlands Quarterly for the History of Art. 1977. Vol. 9. № 1. P. 5.

³¹¹ Lemaistre J. G. Travels after the Peace of Amiens, through parts of France, Switzerland, Italy and Germany. Vol. II. London, 1806. P. 402.

³¹² Дидро Д. Об искусстве. Т. 1. С. 188.

Не имея образования и считая его бесполезным, он писал только так, как велело ему чувство. Когда он пожелал изобразить похищение Ганимеда, то представил его ребенком, которого орел ухватил за рубашу: мальчик плачет от страха, но при этом крепко держит гроздь винограда <на самом деле веточку с вишнями – А. Д.>. Художник, несомненно, вложил ее в руки маленькому Ганимеду как напоминание о том, что ему предстоит стать виночерпием Юпитера.

В этой картине Рембрандт достигает такой степени правдивости, что вернее подражать действительности невозможно. Орел также производит сильное впечатление³¹³.

Осторожно высказанное предположение Ревейя и Дюшена, увидевших в «Ганимеде» насмешку над классической античностью, впоследствии было развито в искусствоведческую концепцию. Как отмечает Маргарита Рассел, долгое время картину считали «гротескной пародией» на традиционные интерпретации мифа о похищении Ганимеда, которые отразились в трактовках сюжета у Микеланджело, Корреджио, Рубенса и других предшественников Рембрандта. В замечательной работе, посвященной рисунку Микеланджело «Похищение Ганимеда», Э. Панофский показал, что уже в IV веке до н. э. были заложены основы двух конкурирующих интерпретаций мифа – реалистической и аллегорической³¹⁴. С одной стороны, Платон в «Законах» писал, что миф о Ганимеде придумали жители Крита, чтобы оправдать мужеложество; с другой, Ксенофонт в «Защите Сократа на суде» утверждал, что «Ганимеда Зевс унес на Олимп не ради тела, но ради души». Само имя «прекраснейшего отрока», по мнению Ксенофонта, значит не «радующий телом», а «радующий мыслями», что ясно указывает, почему «Ганимед получил почет среди богов»³¹⁵. Аллегорические истолкования – как в моральном, так и в метафизическом и даже мистическом плане – получили широкое распространение в эпоху позднего Средневековья и Возрождения, где они бытовали в двух изводах: типологическом (Ганимед – префигурация евангелиста св. Иоанна) и христианско-неоплатоническом (Ганимед – бессмертная душа христианина, освобождающаяся от низменных желаний и либо возносящаяся на небеса, либо созерцающая божественную истину). Как показала М. Рассел, к XVII веку концепция Ганимеда как аллегии непорочной души, переходящей в мир иной, была усвоена всей европейской культурой и нашла свое отражение в картине Рембрандта. Изображая Ганимеда не прекрасным юношей, а младенцем, Рембрандт снимает все гомозротические коннотации мифа и подчеркивает мотив непорочности. На аллегорический характер изображения в первую очередь указывает веточка с вишнями, которую мальчик держит в руке. Это традиционный атрибут младенца-Христа, встречающийся на многих картинах (и в том числе на известной «Мадонне с вишнями» Тициана). Что же касается мотива мочеиспускания, то, согласно Рассел, он восходит к другому, астральному варианту мифа, согласно которому Ганимед был вознесен на небо в виде зодиакального созвездия Водолей (ср. в «Мифах» Гигина: «Кто из смертного стал бессмертным: <...> Ганимед, сын Ассарака, Водолеем из числа двенадцати созвездий»³¹⁶). «Рембрандт, – пишет Рассел, – соединил два параллельных классических мифа о Ганимеде в одном образе: Ганимед, чистая невинная душа, радующаяся Богу, одновременно является Водолеем, изливающим на мир животворящую влагу»³¹⁷.

³¹³ Réveil E. A., Duchesne J. Musée de Peinture et de sculpture, ou Recueil des principaux tableaux, statues et bas-reliefs des collections publiques et particulières de l' Europe. Vol. XI. Paris, 1831. P. 760.

³¹⁴ Panofsky E. The Neoplatonic Movement and Michelangelo // Panofsky E. Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of Renaissance. New York; Evanston; London, 1962. P. 171–230.

³¹⁵ Ксенофонт. Защита Сократа на суде // Сократические сочинения. СПб., 1993. С. 246–247.

³¹⁶ Гигин. Мифы / Изд. 2-е, испр. СПб., 2000. С. 253 (№ 224).

³¹⁷ Russell M. The Iconography of Rembrandt's «Rape of Ganymede». P. 16.

Интересную параллель к картине Рембрандта дает вещий сон Данте в девятой песни «Чистилища», где поэт уподобляет себя Ганимеду. Попав в узкую «долину земных властителей», окруженную со всех сторон отвесными скалами, среди которых не видно прохода, Данте засыпает, и ему снится, будто он находится в том самом месте, откуда был похищен Ганимед, а над ним парит орел, «распластанный и ринуться готовый». Орел, «ужасный как молния» («*terribil come folgor*»), хватает его и уносит к небесному огню, который начинает его жечь. От боли Данте просыпается, охваченный страхом: «Я побледнел и хладом / Пронизан был, как тот, кто уstraшен» («*come fa l' uom che, spaventato, agghiaccia*»). Вергилий успокаивает его, сообщая, что, пока он спал, св. Лючия перенесла его к входу в чистилище. Они подходят ближе к крутой стене и видят священные врата, которые охраняет стражник. Данте умоляет впустить его и получает разрешение войти внутрь. Ясно, что для Данте похищение Ганимеда символизирует восхождение души к Богу, но для того, чтобы пройти весь путь вверх по горе чистилища и достичь рая, душа должна преодолеть страх смерти и в муках очиститься от грехов. Страх Рембрандтова Ганимеда, только оторвавшегося от земли, подобен страху пробудившегося Данте перед входом в чистилище, а его изливающаяся моча и слезы могут быть поняты как вариант очищения, подобного очистительному огню, напугавшему Данте в его вещем сне.

Дарьяльский пейзаж, вызвавший у Пушкина ассоциацию с «Похищением Ганимеда», напоминает описание преддверья чистилища у Данте: та же узкая долина, те же отвесные неприступные скалы-стены. Можно поэтому согласиться с Моникой Гринлиф – единственным исследователем «Путешествия в Арзрум», уделившим внимание пушкинской аллюзии на картину Рембрандта, – которая предположила, что образ Ганимеда в «Чистилище» мог входить в ее «литературный контекст»³¹⁸. При этом М. Гринлиф (читающая «Путешествие в Арзрум» однозначно как пародию на романтические ориенталистские травелоги) полагает, что как сама аллюзия, так и ее связь с «Божественной комедией» носят чисто комический, трагестийный характер.

На наш взгляд, однако, дело обстоит намного сложнее. Разумеется, в аллюзии на изображение писающего мальчика есть смеховой элемент, но смех здесь направлен только на бренный телесный «низ», но не на бессмертный божественный «верх». Отсылая к «Похищению Ганимеда» и, через него, к вещему сну Данте у входа в чистилище, Пушкин исподволь вводит в текст мотив подъема, вертикального пути, который антитетичен горизонтальному движению через тесное ущелье.

В контексте «Путешествия в Арзрум» Дарьял приобретает символическое значение границы между двумя мирами, или, точнее, ворот, открывающих и запирающих проход из своего в чужое, из освоенного в неизвестное. Недаром Пушкин, вопреки пояснениям Юлиуса-Генриха Клапрота, самого авторитетного кавказоведа эпохи, настаивает на том, что «Дариал на древнем персидском языке значит „ворота“»³¹⁹ и что упомянутые у Плиния «Кавказские врата», замыкавшие ущелье, находились именно здесь [VIII: 452]³²⁰. Тот же образ ущелья как врат появля-

³¹⁸ Greenleaf M. Pushkin and Romantic Fashion. Fragment, Elegy, Orient, Irony. Stanford University Press, 1994. P. 152; Гринлиф М. «Путешествие в Арзрум»: Поэт у границы // Современное американское пушкиноведение. Сборник статей. СПб., 1999. С. 289.

³¹⁹ В двухтомном труде «Путешествие на Кавказ и Грузию» (Reise in den Kaukasus und nach Georgien unternommen in den Jahren 1807 und 1808. Halle, 1812–1814; англ. пер.: London, 1814; франц. пер.: Paris, 1823) Клапрот возвел название Дарьял не к иранским, а к тюркским корням: *дар* – «узкий», *ял* или *юл* – «дорога, путь» (Klaproth J. Voyage au Mont Caucase et en Géorgie. Vol. 1. Paris, 1823. P. 461). Правдоподобное объяснение Клапрота без ссылки на источник повторил А. А. Бестужев-Марлинский в примечании к седьмой главе повести «Аммалат-Бек»: «Я убежден, что Кавказские ворота древних, Железные ворота русских историков, находились не в Дербенте, а в Дарьяле (Дал-юл – узкая дорога, теснина)» (Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения: В 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 494). Лингвистическое замечание Пушкина не вполне точно. На персидском языке существительное *дар* может значить «дверь, ворота», но вторая часть топонима не имеет удовлетворительных иранских соответствий.

³²⁰ Это предположение Пушкин нашел в записках графа Яна (Ивана) Потоцкого «Путешествие в астраханские и кавказские степи» (см.: Potocki J., Comte. [T. I] Voyage dans les steps d' Astrakhan et du Caucase. [T. II] Histoire primitive des peuples qui

ется и в двух пушкинских незаконченных стихотворениях, написанных уже после «Путешествия в Арзрум»: «Когда владыка ассирийский...» (1835) на сюжет из ветхозаветной «Книги Юдифи» и «Альфонс садится на коня...» (1836) на сюжет из «Рукописи, найденной в Сарагосе» графа Потоцкого. В первом случае замкнутые ворота не позволяют вражескому войску подняться вверх к Ветилуе, иудейскому городу на горе:

Притек сатрап к ущельям горным
И зрит: их узкие врата
Замком замкнуты непокорным;
Стеной, <как> поясом узорным,
Препоясалась высота.
И над тесниной торжествуя,
Как муж на страже, в тишине
Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине.

[III: 406]³²¹

Во втором – бесстрашный герой едет «ущельем тесным и глухим», откуда попадает в долину, где видит виселицу с мертвыми телами двух разбойников – виселицу, под которой он, как мы знаем из романа, будет потом много раз просыпаться:

<...> Перед ним
Одна идет дорога в горы
Ущельем тесным и глухим.
Вот выезжает он в долину;
Какую ж видит он картину?
Кругом пустыня, дичь и голь,
А в стороне торчит глаголь,
И на глаголе том два тела
Висят. Закаркав, отлетела
Ватага черная ворон,
Лишь только к ним подъехал он.

[III: 436–437]

В «Путешествии в Арзрум», как и в «Альфонс садится на коня...», ворота ущелья оказываются незамкнутыми, а за ними открывается манящий, но опасный путь, проходящий через несколько естественных и символических границ и ведущий автора все дальше и дальше от «своего» к неизведанному «чужому». Хотя путь этот лежит через горы, в его описании символика верха и низа почти начисто отсутствует, а на первый план выходят мотивы перехода

ont habité anciennement ces contrées. Nouveau périple du Pont-Euxin. Ouvrages publiés et accompagnés de notes et de tables, par M. Klaproth, Membre des Sociétés Asiatiques de Paris, de Londres et de Bombay. T. I. Paris, 1829. P. 216–217). К этим запискам Пушкин отсылает в конце абзаца о Дарьяле, где упомянут также ныне прославленный роман Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагосе»: «Смотрите путешествие графа И. Потоцкого, коего ученые изыскания столь же занимательны, как и испанские романы» [VIII: 452]. Источник был установлен Ю. Н. Тыняновым, который, по-видимому, пользовался экземпляром с неверно вклеенными титульными листами и потому везде ошибочно ссылается на второй том издания вместо первого (см.: Тынянов Ю. Н. О «Путешествии в Арзрум» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. [Вып.] 2. М.; Л., 1936. С. 69–70; Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 6 т. / Под ред. М. А. Цявловского. М.; Л.: Academia, 1936. Т. 4. С. 788–789).

³²¹ В работе о «Когда владыка ассирийский...» И. З. Сурат указала на связь «осознанной религиозной символики» верха и низа в стихотворении со «сквозными образами ущелий и вершин» в стихах «кавказского цикла» и в «Путешествии в Арзрум» (см. ее статью «Стоит, белеясь, Ветилуя...» в сборнике: Сурат И. Вчерашнее солнце. О Пушкине и пушкинистах. М., 2009. С. 327–343).

(само слово встречается в тексте десять раз) и движения вперед. В этом смысле Пушкина-путешественника уместно сопоставлять не с Данте, а с Улиссом, который в песни XXVI «Ада» рассказывает о своем последнем путешествии в «необитаемый мир» («mondo senza gente») за Геркулесовыми столбами, или «вратами», как их называл Пиндар. В конце пути его корабль приблизился к горе чистилища, но был встречен сильным ветром и пошел ко дну. По замечанию Ю. М. Лотмана, путь Улисса – «своеобразного двойника Данте» – «единственное в „Комедии“ значимое движение, для которого ось „вверх-вниз“ нерелевантна: вся трасса разворачивается в горизонтальной плоскости». Это подчеркивает принципиальное различие между двумя «героями пути», пересекающими запретные границы:

...дантовское знание сопряжено с постоянным восхождением познающего по оси моральных ценностей <...> Жажда знания у Улисса неморальна <...> Даже Чистилище для него – лишь белое место на карте, а стремление к нему – путешествие, движимое жаждой географических открытий. Данте – паломник, а Улисс – путешественник³²².

Пушкина-путешественника тоже гонит вперед неморальная жажда запретного и неизвестного, которую он называет «демоном нетерпения». Лишь однажды, при виде горы, которую Пушкин по ошибке принимает за легендарный Арарат, в нем пробуждается интерес к сакральному верху: «Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни, и врана и голубицу излетающих, символы казни и примирения» [VIII: 463]³²³. Однако стремление ввысь сразу же сменяется стремлением вдаль, как только Пушкин подъезжает к реке Арпачай, по которой проходила граница между Российской и Османской империями:

Перед нами блистала речка, через которую мы должны были переправиться. Вот и Арпачай, сказал мне казак. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимой мечтой. <...> Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег [VIII: 463].

Торопясь в «чуждые пределы», рассказчик ни разу не занимает позицию «превосходительного покоя», с которой Пушкин-поэт взирал на Кавказ в одноименном стихотворении («Кавказ подо мною. Один в вышине / Стою над снегами у края стремнины; / Орел, с отдаленной поднявшись вершины, / Парит неподвижно со мной наравне...» [III: 196])³²⁴; напротив, он всегда беспокоен, нетерпелив в своей жажде все новых впечатлений, безрассуден перед лицом опасностей, которые подстерегают его на каждом шагу. За Дарьяльскими вратами Пушкин проезжает те места, где «страшная глыба» кого-то убила, где горцы обстреляли путешественников; он спускается по «опасной дороге»; ему грозят «ужасная горячка» и чума, преследующая его с самого начала и до самого конца пути. Опасности и угрозы смерти нарастают крещендо, достигая апогея, как и следовало ожидать, на театре военных действий. Здесь Пушкин дважды попадает «в жаркое дело», едва не гибнет под копытами Сводного уланского полка («Однако Бог упас», – сухо замечает он), уходит из сакли за пятнадцать минут до того, как она «взорвана была на воздух». Его боевому крещению, когда он становится свидетелем и участником кровавой стычки с турками, как и въезду на Кавказ, предшествует проезд через «опасное ущелье»,

³²² Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров: Человек – текст – семиосфера – история. М., 1996. С. 260, 262–263.

³²³ О библейских аллюзиях этого пассажа см.: Долинин А. Вран – символ казни (Из комментариев к «Путешествию в Арзрум») // Соп Амоге: Историко-филологический сборник в честь Любови Николаевны Киселевой. М., 2010. С. 157–168.

³²⁴ См. об этом в работе А. К. Жолковского «Поэтический мир Пушкина»: Жолковский А. К. Избранные статьи о русской поэзии: Инварианты, структуры, стратегии, интертексты. М., 2005. С. 39–40.

а над телами раненых и убитых, как над Ганимедом или Данте, парят «орлы, спутники войск, <...> с высоты высматривая себе добычу» [VIII: 467].

Другое дело, что орлы – «спутники войск» – не имеют ничего общего ни с орлом, парящим наравне с поэтом в «Кавказе»³²⁵, ни с царственными птицами у Данте и Рембрандта, символизирующими божественную благодать, поднимающую человека к Богу³²⁶. Это стервятники, питающиеся падалью, провозвестники смерти, родственные черным воронам, клюющим тела повешенных в «Альфонс садится на коня...». Как кажется, Пушкин использовал здесь образ из хорошо известного ему сонета П. А. Катенина «Кавказские горы», где Кавказ, вопреки традиции, изображен не как «возвышенное» (по Берку и Канту), а как безобразное и демоническое:

Громада тяжкая высоких гор, покрытых
Мхом, лесом, снегом, льдом и дикой наготой;
Уродливая складь бесплодных камней, смытых
Водою мутною, с вершин их пролитой.
Ряд безобразных стен, изломанных, изрытых,
Необитаемых, ужасных пустотой,
Где слышен изредка лишь крик орлов насытых,
Клюющих падеру оравую густой;
Цепь пресловутая всепетого Кавказа,
Непроходимая, безлюдная страна,
Притон разбойников, поэзии зараза!
Без пользы, без красы, с каких ты пор славна?
Творенье Божье ты иль чертова проказа?
Скажи, проклятая, зачем ты создана?³²⁷

Вслед за Катениным Пушкин представляет Кавказ отнюдь не «всепетым» раем³²⁸, а его травестией, «чертовой проказой», где все оказывается совсем не таким, как в ориенталистском

³²⁵ Отождествление поэтического вдохновения с полетом орла – общее место русской поэзии конца XVIII – начала XIX века. Ряд примеров см.: Григорьева А. Д. Поэтическая фразеология Пушкина // Поэтическая фразеология Пушкина. М., 1969. С. 123–124.

³²⁶ О символике орла в «Божественной комедии» см.: Boitani P. Winged Words: Flight in Poetry and History. Chicago; London, 2007. P. 132–148.

³²⁷ Катенин П. А. Избранные произведения. М.; Л., 1965. С. 228. Катенин приложил «Кавказские горы» к письму Пушкину, датированному 4 января 1835 года. В большом академическом собрании сочинений Пушкина вместе с данным письмом по недоразумению напечатан другой сонет Катенина «Кто принял в грудь свою язвительные стрелы...» [XVI: 1–2], который был послан Пушкину позднее, с письмом от 1 июня 1835 года, и находился в его архиве. Недоразумение объясняется тем, что копии «Кавказских гор» в бумагах Пушкина не сохранились, а сам сонет был впервые опубликован только в 1940 году и, вероятно, не попал в поле зрения редакторов тома. Верные сведения о присылке обоих сонетов приведены в «Справочном томе» полного собрания сочинений Пушкина [XVII (справочный том): 235], в комментариях Л. Б. Модзалевского и И. М. Семенко к академическому десяти тому (Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. / Изд. 3-е М., 1965. Т. 10. С. 743) и в комментариях Г. В. Ермаковой-Битнер к «Избранным произведениям» Катенина (Катенин П. А. Избранные произведения. С. 695–697). К сожалению, они остались неучтенными в двухтомнике «Переписка А. С. Пушкина» издательства «Художественная литература» (М., 1984) и в «Летописи жизни и творчества Александра Пушкина» (Т. 4. 1833–1837 / Сост. Н. А. Тархова. М., 1999. С. 268, 316), где повторяется старая ошибка.

³²⁸ По предположению В. С. Листова, Пушкин учитывал распространенные представления о том, что Эдемский сад находился именно на Кавказе и в Закавказье (Листов В. С. Библиейские мотивы в «Путешествии в Арзрум» // Пушкин и его современники: Сборник научных трудов. Вып. 1 (40). СПб., 1999. С. 45–50). Заметим, что они отразились не только в «Народной книге» о Фаусте, указанной Листовым, но и в ряде других известных Пушкину источников, как русских, так и западноевропейских. Например, А. Н. Муравьев по случаю русско-персидской войны призывал русских воинов двинуться на бой к Ара-рату и Араксу, «Туда—где колыбель Вселенной! / Где мира первобытный Рай!» (Муравьев А. Н. Таврида / Изд. подгот. Н. А. Хохлова. СПб., 2007. С. 133 (Литературные памятники)); «колыбелью человечества» назвал Кавказ А. А. Бестужев-Марлинский, восклицавший, глядя на Алазанскую долину: «...не ищите земного рая на Евфрате: it is this, it is this! – он здесь, – он здесь!» (Марлинский А. Полное собрание сочинений. Ч. IX: Кавказские очерки. СПб., 1838. С. 8, 204). Еще в начале XVIII века французский ботаник и путешественник Питтон де Турнфор, упомянутый в пятой главе «Путешествия в Арзрум», высказал

воображении: нагие грузинки в бане – бесстыдно-равнодушными к мужскому взгляду, красавицы гарема – вовсе не красавицами, «азиатская роскошь» – «азиатским свинством», восточные здания и памятники – уродливыми сооружениями без вкуса и мысли, храбрые джигиты – жестокими трусами. Даже вождь переход через государственную границу, как показывает Пушкин, иллюзорен. Описав переправу через Арпачай, он вдруг замечает: «Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в России» [VIII: 463]. Конечно же, Пушкин прекрасно знал, что в результате русско-турецкой войны граница по Арпачаю не изменилась и он действительно въехал на турецкую территорию. Его ироническая ремарка указывает не на фактическую сторону дела, а на то, что, ретроспективно переосмысливая путешествие, Пушкин смеется над былыми восторгами по поводу экзотического Востока, войны, пересечения границ и всего путешествия в целом: оно не приносит никаких значимых изменений, путешественник в любой точке географического пространства остается таким же, каким он был («Каков я прежде был, таков и ныне я» [III: 143]), и избавления от России и собственной русскости не происходит даже за пределами Российской империи.

Окончательный итог путешествию подводит сцена в захваченном Арзруме, где вспыхнула чума:

Остановясь перед лавкою оружейного мастера, я стал рассматривать какой-то кинжал, как вдруг кто-то ударил <В «Современнике»: «ударили». – А. Д.> меня по плечу. Я оглянулся: за мною стоял ужасный нищий. Он был бледен как смерть; из красных загноенных глаз его текли слезы. Мысль о чуме опять мелькнула в моем воображении. Я оттолкнул нищего с чувством отвращения неизъяснимого, и воротился домой очень недовольный своею прогулкою [VIII: 481].

«Ужасный нищий», ударяющий Пушкина по плечу³²⁹, – последнее звено в длинной цепочке напоминаний о смерти, тянущейся от «первого замечательного места» путешествия, могил «нескольких тысяч умерших чумою» [VIII: 448] через весь текст. Эту сцену, предшествующую окончательному решению Пушкина оставить армию, несмотря на предложение Паскевича «быть свидетелем дальнейших предприятий», можно понимать символически, как индизнаительное *résumé* текста, выражающее отношение автора не столько к прогулке по Арзруму, сколько ко всему путешествию. Очевидно, в какой-то момент Пушкин понял, что война, на которую он, *a la* Байрон, так стремился, чтобы «круто поворотить свою жизнь», есть, по выражению Ю. М. Лотмана, «безусловное зло»³³⁰, и, устыдившись собственного ребячества, решил закончить игру с судьбой.

предположение, что четыре реки Эдема, названные в Библии (Фисон, Гихон, Хиддекель, Евфрат), – это Риони, Аракс, Тигр и Евфрат, и что земной рай, следовательно, занимал территорию современных Армении и Грузии, от Эчмиадзина до Тифлиса (*Tournefort P. de. Relation d'un voyage du Levant, fait par ordre du Roi, contenant d'Histoire Ancienne et Moderne de plusieurs Isles de l'Archipel, de Constantinople, des Côtes de la Mer Noire, de l'Arménie, de la Georgie, des Frontières de Perse et de l'Asie Mineure. T. I. Amsterdam, 1718. P. 135–136*). В библиотеке Пушкина сохранился роман английского писателя Джеймса Мориера «Айеша, дева из Карса», действие которого происходит в тех самых районах турецкой Армении, через которые Пушкин проехал по пути в Арзрум. Второй главе романа предпослан эпиграф из Турнфора, относящийся к этим краям: «Если возможно сегодня определить место, где родились Адам и Ева, то оно несомненно сейчас перед нами». Главный герой «Айеши», английский лорд Осмонд, с вершины горы любуется великолепным видом на «зеленые тучные нивы Аберана», на «возвышенный» (*sublime*) Апарат и соперничающий с ним Алагез, на слияние Арпачая и Аракса, и спрашивает себя: «Не здесь ли мог находиться устроенный Богом Эдемский сад?» (*Morier J. Ayesha, the Maid of Kars. Paris, 1834. P. 11, 17; Библиотека Пушкина. С. 152. № 584/LVIII*).

³²⁹ Сам удар по плечу приобретает значение *memento mori* при сопоставлении с летописным рассказом о смерти князя галицкого Владимира (Владимирко), приведенном в примечаниях ко второму тому «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Когда Владимир, оскорбивший киевского посла Петра и насмевшийся над святым крестом, возвращался из церкви и достиг того самого места, где «пругася Петрови», он вдруг вскрикнул: «кто мя ударил за плечи?» – и не смог продолжать путь. Вечером того же дня Владимир умер (*Карамзин Н. М. История государства Российского: В 12 т. М., 1991. Т. II–III. С. 331*).

³³⁰ Лотман Ю. М. Из размышлений над творческой эволюцией Пушкина (1830 год) // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография

Страшному арзрумскому видению в финальной части текста противопоставлено «чудное зрелище» храма на вершине Казбека, которое Пушкин наблюдает на возвратном пути, перед въездом в Дарьяльское ущелье:

Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище. Белые, оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками [VIII: 482].

Как многократно отмечалось в пушкинистике, образ горного монастыря прямо отсылает к частично процитированному выше стихотворению «Монастырь на Казбеке», в котором, по замечанию Ю. М. Лотмана, развитие темы пути «приводит к совершенно новому в творчестве Пушкина – соседству Бога»³³¹. Только отказавшись от продолжения маршрута и повернув к дому, Пушкин видит то, что было сокрыто от него в начале путешествия, когда он ехал мимо Казбека в другую сторону, – видит не желанный берег турецкий, а иной, небесный, «вожде ленный брег», к которому он теперь, как Данте, мечтает подняться. Круговой путь завершается проездом через ущелья Терек в обратном направлении и выходом из суженного пространства в широкий мир: «Наконец я выехал из тесного ущелия на раздолье широких равнин Большой Кабарды» [VIII: 482].

Как показал В. Н. Топоров, в мифопоэтической и религиозной моделях мира путь «к чужой и страшной периферии», в царство «все возрастающей неопределенности, негарантированности, опасности», как правило, приводит героя к границе-переходу между двумя по-разному устроенными «подпространствами», где происходит прорыв к сакральным ценностям³³². В «Путешествии в Арзрум» такой границей-переходом оказываются «кавказские врата», но прорыв к сакральным ценностям, на возможность которого намекала отсылка к «Похищению Ганимеда», происходит лишь при пересечении границы в сторону дома. Тем самым под сомнение ставится сама романтическая идея бегства от обыденности в экзотику, от близкого к далекому.

Известно, что в 1830-е годы Пушкин любил повторять сентенцию из повести Шатобриана «Рене»: «Il n'y a du bonheur que dans les voies communes»³³³ (букв. пер.: «счастье бывает/встречается только на общих/обыкновенных путях»³³⁴) и цитировал ее – не вполне точно – в письме к Н. И. Кривцову от 10 февраля 1831 года в связи с женитьбой³³⁵, а также в прозаическом наброске «Из записок дамы» («Рославлев») – о трагической судьбе «бунтарки» Полины³³⁶. Ю. М. Лотман в биографии Пушкина и в комментарии к «Евгению Онегину» уделил особое внимание этой сентенции, истолковав ее как жизнестроительный манифест зрелого Пушкина, отказывающегося от романтического культа исключительности. Согласно Лотману, «общие пути» в цитате – это метафора «обыденной жизни», прозаической, в первую очередь семей-

писателя; Статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: Комментарий. СПб., 1995. С. 303. О войне как главной теме «Путешествия в Арзрум» см. также: Etkind E. Незамеченная книга Пушкина. Перелистывая *Современник* – сто пятьдесят лет спустя // *Revue des études slaves*. Т. 59 (Fascicule 1–2). Alexandre Puškin 1799–1837. Paris, 1987. P. 201–203.

³³¹ Лотман Ю. М. Из размышлений над творческой эволюцией Пушкина (1830 год). С. 304.

³³² См.: Топоров В. Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983. С. 262–264.

³³³ См.: Разговоры Пушкина / Собрала С. Гессен, Л. Модзалевский. М., 1929. С. 292.

³³⁴ Остроумный перевод «наизнанку» предложил П. И. Бартенев: «Пути необыкновенные не ведут к счастью» (Русский архив. 1871 (год девятый). Ст. 1882).

³³⁵ «Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Il n'est de bonheur que dans les voies communes. Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся – я поступаю как люди, и вероятно не буду в том раскаиваться» [XIV: 150–151].

³³⁶ «Никогда не подозревала я в ней такого жара, такого честолюбия. Увы! К чему привели ее необыкновенные качества души и мужественная возвышенность ума? Правду сказал мой любимый писатель: *Il n'est de bonheur que dans les voies communes*» [VIII: 154].

ственной повседневности, которую Пушкин выбирает как «новую жизненную дорогу» взамен «пути романтической молодости»³³⁷.

К сказанному Лотманом нужно добавить, что формула Шатобриана имела отчетливо религиозный характер. Пушкин не мог не помнить, что в повести сентенцию произносит старый индеец Шактас, выслушав рассказ героя, мятущегося страдальца и скитальца, о его безуспешных попытках найти избавление от душевного томления, одиночества и тоски в путешествиях, в уединении, в созерцании природы и произведений искусства, в светских развлечениях, в нежной дружбе с сестрой (едва не приведшей к инцесту) и, наконец, в бегстве за океан, в Америку. Он соглашается с католическим священником, отцом Суэлем, который корит Рене за гордыню и высокомерие, заставляющие его презирать обыденность, разжигать в себе страсти и искать все новых и новых впечатлений. «Общим путям» Шактас, как Пушкин в письме Кривцову, противопоставил «необыкновенную жизнь» («la vie extraordinaire»), уподобив ее реке, вышедшей из берегов (ср. в финале «Путешествия в Арзрум» контрастные образы монастыря на Казбеке и разлива вод в Бешеной Балке). В уста Шактаса Шатобриан вложил мысль, неоднократно встречавшуюся ранее у французских моралистов и богословов. Так, еще Монтень писал, что гордыня уводит человека с общих путей³³⁸. «Ты считаешь унижительным следовать по проторенной дороге, общими путями („les voies communes“): ты хочешь быть творцом, изобретателем, хочешь возвышаться над другими исключительностью своих чувств. <...> Слепой поводырь слепых!» – обличал гордецов Боссюэ³³⁹. Таким образом, «общие пути», о которых говорил Шатобриан, – это не только установка на житейскую «норму», но и мотивирующее эту установку христианское смирение.

В 1835 году, когда Пушкин писал «Путешествие в Арзрум», он снова, как и шестью годами ранее, мечтал о перемене мест и участи, о побеге, но на этот раз его манили не таинственные границы чужих стран, а «общие пути» уединенной деревенской жизни. Известная запись на черновике «Пора, мой друг, пора...» (1834): «О скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню – поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические – семья, любовь etc. – религия, смерть» [III: 941], чем бы она ни была – планом продолжения стихотворения, идеей какого-то иного текста в гораццианском духе или программой нового «общего пути», – точно указывает направление пушкинских мыслей этого времени. Возможно, Пушкин восстановил в памяти и описал свое путешествие 1829 года, чтобы убедить себя в том, что его тогдашняя попытка испытать судьбу и вырваться на свободу была мальчишеством и что «узкие врата» спасения следует искать не в странствиях и боях, а в самом себе.

³³⁷ Лотман Ю. М. Пушкин. С. 128–129, 714.

³³⁸ «C'est l'orgueil qui iecte l'homme à quartier des voyes communes» (Essais de Michel de Montaigne / Nouvelle éd. Т. II. Paris, 1828. P. 224).

³³⁹ Œuvres de Bossuet. Т. VIII. Versailles, 1815. P. 443. Пушкин упомянул Боссюэ среди лучших французских писателей в двух статьях: напечатанной в «Современнике» «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной» [XII: 69] и незаконченной «О ничтожестве литературы русской» [XI: 270]. В 1836 году он купил только что вышедшее собрание сочинений Боссюэ в пяти томах и успел разрезать в нем более 100 страниц (*Библиотека Пушкина*. С. 174–175. № 667). По наблюдению В. Набокова, повторенном Ю. М. Лотманом, в строфе XXXVIII и в черновом наброске строфы XIV второй главы «Евгения Онегина» имеются реминисценции проповеди Боссюэ «О смерти» (*Pushkin A. Eugene Onegin. A Novel in Verse / Transl. from the Russian, with a Commentary, by V. Nabokov. Paperback edition in two volumes. Vol. II. Part I: Commentary and Index. Princeton University Press, 1990. P. 306. Ср.: Лотман Ю. М. Пушкин. С. 610*).

ИСТОРИЗМ ИЛИ ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ? ПУШКИНСКАЯ «ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА» В КОНТЕКСТЕ ФРАНЦУЗСКОЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Эволюция идей и поэтики Пушкина в 1830-е годы давно является одним из самых противоречивых вопросов в пушкинистике и служит камнем преткновения для биографов и литературоведов. Прямолинейная схема, предложенная Г. А. Гуковским, согласно которой «путь» Пушкина представляет собой неуклонное движение от романтизма к реализму и историзму, еще не окончательно отвергнута, но постепенно теряет приверженцев, поскольку она игнорирует или неверно толкует очевидные «архаичные», ретроградные тенденции в поздних произведениях Пушкина. Как показали многие исследования, Пушкин, отказываясь от современных ему романтических конвенций, не заменяет их конвенциями предреалистическими или реалистическими, а пытается обновить некоторые устаревшие модели XVIII века. Так, еще в 1930-е годы Л. В. Пумпянский обнаружил в «Медном всаднике» и ряде других поздних произведений Пушкина мощный одический «стилистический слой», восходящий к Ломоносову, Державину, Боброву и многим другим поэтам предшествующего столетия. По мысли Пумпянского, Пушкин, с одной стороны, модернизировал одическую традицию, а с другой – вступал с ней в полемику³⁴⁰. В. Э. Вацуро показал, что «Повести Белкина» направлены скорее на возрождение в обновленной (с налетом субверсии) форме традиций сентиментализма, нежели на их ниспровержение³⁴¹. Согласно концепции Ю. М. Лотмана, призыв Пушкина к человечности как высшей ценности в «Герое» и «Медном всаднике» «оказался связанным с возвратом к определенным сторонам идейного наследия XVIII века, в частности к сентиментализму»³⁴².

В статье я пытаюсь показать, что пушкинская «История Пугачевского бунта» принадлежит к той же категории полемически архаизированных текстов и идет вразрез с самыми влиятельными моделями исторического дискурса, которые преобладали в 1830-е годы. Это становится более или менее очевидным, стоит только поместить «Историю», написанную в 1833–1834 годах, когда «исторический бум» в Западной Европе уже почти достиг апогея, в соответствующий контекст, сопоставив ее с французскими историческими сочинениями 1820–1830-х годов, которые были прекрасно известны Пушкину. Я предлагаю оценивать пушкинский труд на фоне его непосредственных французских предшественников, – таких знаменитых трудов, как «История бургундских герцогов дома Валуа» Проспера де Баранта (1824–1828), «История завоевания Англии норманнами» (1825) и «Письма об истории Франции» (1827) Огюстена Тьерри, «История цивилизации в Европе от падения Римской империи до 1879 года» (1829–1830) и «История цивилизации во Франции» (1828) Франсуа Гизо, «История Французской революции» (1824–1827) Луи-Адольфа Тьера, «История Французской революции с 1789 по 1814 год» Франсуа Минье, лекции по философии истории Виктора Кузена (1828) и т. д.³⁴³

³⁴⁰ Пумпянский Л. В. «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII века // Пумпянский Л. В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы / Отв. ред. А. П. Чудаков. Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Н. И. Николаева. М., 2000. С. 158–196.

³⁴¹ См.: Вацуро В. Э. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» // Записки комментатора. СПб., 1994. С. 29–47.

³⁴² Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарии / 2-е изд. Л., 1983. С. 307.

³⁴³ Нет никаких сомнений в том, что Пушкин с пристальным интересом следил за новыми веяниями во французской исторической науке. Например, он ссылается на «новую школу французских историков» и, в частности, на Баранта и Тьерри, в своей второй статье о первом томе «Истории русского народа» Н. А. Полевого (см.: [XI: 121]); в неоконченной рецензии на второй том Полевого Пушкин говорит об «Истории европейской цивилизации» Гизо [XI: 127]; в июне 1831 года он пишет Елизавете Хитрово, что занялся изучением Французской революции и просит ее прислать ему указанные выше книги Тьера и Минье [XIV: 176]; в письме жене от сентября 1834 Пушкин упоминает, что читает «Историю завоевания Англии норман-

Говоря о воззрениях Пушкина на историю, советские исследователи неизменно заявляли, будто поэт, как и его французские коллеги и единомышленники, верил в то, что Б. В. Томашевский называет «законом исторической необходимости», и видел в истории «картину поступательного движения человечества, определяемого борьбой социальных сил»³⁴⁴. Г. П. Макогоненко писал, что благодаря чтению трудов Гизо, Минье, Тьера и Баранта, которые «открыли классовую борьбу», Пушкин овладел социологическим «ключом» к пониманию истории и современности, определившим «новый, более высокий этап его историзма»³⁴⁵. Даже такой проницательный историк, как Н. Я. Эйдельман, утверждает, будто Пушкин прекрасно усвоил все, что «было понято лучшими учеными, прежде всего французской исторической школой (Тьерри, Минье, Гизо, Тьер), их новый подход, отказ от морализирующих оценок, интерес к роли масс», и достиг некоего высокого, сложного историзма³⁴⁶.

Однако есть причины считать, что позиция Пушкина на самом деле была противоположной: как я предполагаю в своей трактовке «Истории Пугачевского бунта», в ней Пушкин-историк отверг основные идеи и установки новой французской школы и поставил под вопрос саму идею историзма.

Конечно, Пушкин позаимствовал у французских историков некоторые формальные методы, подходы и нарративные приемы (в основном способы подачи «местного колорита»), используемые, чтобы передать дух описываемой эпохи или, по словам самого Пушкина, чтобы передать прошлое напрямую, без промежуточных звеньев, сохраняя «печать живой современности» [IX: 390]³⁴⁷. В «Истории» читатель не найдет ни чрезмерной наставительности и морализаторства, присущих предшественнику Пушкина – Карамзину, ни попыток романизировать исторических персонажей и психологически обосновать их поступки³⁴⁸. В том, что касается отбора источников и работы с ними, Пушкин гораздо ближе к новаторским принципам французской романтической историографии, чем к карамзинской манере изложения. Подобно сэру Вальтеру Скотту и его последователям, Пушкин считал своим долгом посетить места исторических событий, побеседовать с предполагаемыми очевидцами и расцветить повествование сообщениями ими подробностями³⁴⁹; он инкрустирует историческое повествование фрагментами народных преданий, легенд, песен и драматизирует его, приводя стилистически маркированные высказывания свидетелей, как подлинные, так и апокрифические³⁵⁰. Пушкин предоставляет слово и старым документам, и престарелым уцелевшим очевидцам Пугачевского восстания, позволяя им говорить каждому за себя, и практически не прибегает к реконструкции или прямым авторским комментариям. Если Карамзин подчинял все источники, которыми поль-

нами» Баранта и от этого «сделался ужасным политиком» [XV: 192]; в статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе и словесности, как иностранной, так и отечественной» (1836) Пушкин отдает дань Баранту, Тьерри, Тьеру и Гизо [XII: 69] и т. д. Все эти исторические труды широко обсуждались в русской публицистике того времени.

³⁴⁴ Томашевский Б. В. Историзм Пушкина // Томашевский Б. В. Пушкин. Кн. 2: Материалы к монографии (1824–1837). М.–Л., 1961. С. 198.

³⁴⁵ Макогоненко Г. П. Исторический роман о народной войне // Пушкин А. С. Капитанская дочка / 2-е изд. Л., 1984. С. 206.

³⁴⁶ Эйдельман Н. Я. Пушкин, история и современность в художественном сознании поэта. М., 1984. С. 361, 362.

³⁴⁷ И. З. Серман нашел отголоски чтения фрагмента «Истории Бургундских герцогов» Баранта, напечатанного в «Московском телеграфе» (1825. Ч. IV. № 15. Август. С. 181–182), уже в «Борисе Годунове» (Серман И. З. Пушкин и новая школа французских историков (Пушкин и П. де Барант // Русская литература. 1993. № 2. С. 132–137).

³⁴⁸ Подробный разбор повествовательных стратегий Карамзина см.: Emerson C. Boris Godunov: Transpositions of a Russian Theme. Bloomington, 1986.

³⁴⁹ Как показывает пушкинский ответ на критику Владимира Броневского на «Историю Пугачевского бунта», Пушкин гордился проделанной полевой работой. «Я посетил места, где произошли главные события эпохи, мною описанной, поверяя мертвые документы словами еще живых, но уже престарелых очевидцев, и вновь поверяя их дряхлеющую память историческою критикою» [IX: 389].

³⁵⁰ См., например, выразительную фразу Пугачева «Улица моя тесна», которую Пушкин слышал от сына очевидца [IX: 27] (фраза перенесена в «Капитанскую дочку» [VIII: 352]) или рассказ о старой казачке, которая «каждый день бродила над Яиком, клюкою пригребая к берегу плывущие трупы и приговаривая: «Не ты-ли, мое детище? Не ты-ли, мой Степушка? Не твои-ли черные кудри свежа вода моет?» [IX: 51].

зовался, своему голосу и видению, то Пушкин, напротив, подчинял голос и видение источникам и, следуя завету Тьерри, «как можно точнее и ближе придерживался языка <...> современников описываемых событий»³⁵¹.

Однако, в отличие от трудов французской романтической школы, пушкинская «История Пугачевского бунта» не пытается истолковать описываемые события, открыть тайные связи между ними, выявить некие глубинные цели исторического процесса. В «Общей истории цивилизации в Европе» Гизо заявлял:

С некоторых пор много и обосновано говорят о том, что историю следует ограничить фактами и их изложением. Это весьма справедливо; но число и разнообразие фактов гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Есть факты материальные, внешние – сражения, войны, официальные действия правительств; есть факты моральные, внутренние, но не менее реальные; есть факты индивидуальные, имеющие определенные названия; есть факты общие, безымянные, которые нельзя отнести к определенной дате, дню, году, которые невозможно заключить в жесткие рамки, но тем не менее и они принадлежат к числу исторических фактов; исключить их из истории значит исказить ее.

Отношения фактов между собой, связи, их соединяющие, причины и следствия событий – то, что обычно относят к философии истории, – должны изучаться историей в той же мере, что и битвы и все события внешнего порядка. Бесспорно, факты этого рода сложнее выявить; имея с ними дело, мы чаще ошибаемся; их трудно обрисовать, представить в ясных, живых формах; но все сложности не меняют природу подобных фактов: они все равно остаются важной частью истории³⁵².

Согласно Гизо, главная задача историка – «свести <...> разрозненные факты <...> в подлинное историческое единство»³⁵³, и эту апофегму можно считать главным постулатом новой исторической школы в Западной Европе 1820–1830-х годов. Подобным же образом Виктор Кузен утверждал, что стоит лишь отчетливо выделить и понять главенствующую идею эпохи, как можно будет уверенно предсказывать ее последствия в мире фактов; история станет жестким, безукоризненным, живым геометрическим построением, которое повинуетя законам, отражающим законы природы:

История – это или пустячная фантасмагория и, в таком случае, не более чем горькая и жестокая шутка, или же она наделена смыслом и рациональна; если она рациональна, у нее есть законы, которые необходимы и благотворны, поскольку любой закон непременно должен обладать этими двумя свойствами³⁵⁴.

По мнению Кузена, история всегда носит прогрессивный, поступательный характер; более того, она непременно «благотворна, нравственна и научна»³⁵⁵. Следовательно, даже

³⁵¹ *Thierry Au. Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands, de ses causes, et de ses suites jusqu'à nos jours, en Angleterre, en Écosse, en Irlande et sur le continent. T. I. Paris, 1825. P. IX.* Направленная стратегия Пушкина, часто включавшего в авторскую речь незакавыченные цитаты и парафразы, обсуждается в книге Г. Блока «Пушкин в работе над историческими источниками» (М.: Л., 1949) и в труде Р. В. Овчинникова «Пушкин в работе над архивными документами: „История Пугачева“» (Л., 1969). Однако оба исследователя не замечают, что пушкинские бриколажи восходят к трудам французских «новых историков», на которых, в свою очередь, повлияли исторические романы сэра Вальтера Скотта.

³⁵² *Guizot F. Cours d'histoire moderne : Histoire générale de la civilisation en Europe, depuis la chute de l'empire Romain jusqu'à la révolution française. Paris, 1828. P. 7–8.*

³⁵³ *Ibid. P. 8 (12-й пагинации).*

³⁵⁴ *Cousin V. Cours de l'histoire de la philosophie. Paris, 1828. P. 39 (7-й пагинации).*

³⁵⁵ *Ibid. P. 10 (8-й пагинации).*

войны в конечном итоге необходимы для прогресса человечества, поскольку они – ужасное, но необходимое орудие цивилизации:

Война – не что иное, как кровавый обмен идеями; битва – не что иное, как столкновение истины и заблуждения; я говорю об истине, потому что в любую эпоху менее значительные заблуждения – это истина в сравнении с более крупными ошибками или ложными идеями, которые отжили свой век; победа – это просто победа истины сегодняшней над истиной прошлого, которая стала завтрашним заблуждением³⁵⁶.

Подобно Гизо, Кузен видит миссию нового историка в том, чтобы выявить идеи и смыслы, таящиеся за противоречивыми «фактами», отыскать непоколебимые исторические законы, стоящие за вроде бы разрозненными «частностями»:

Если во всем есть свой *raison d'être*, если все имеет свою идею, свой принцип, свой закон, тогда не бывает ничего незначимого, во всем есть смысл; и именно этот смысл необходимо понять, и задача и миссия философа-историка и заключается в том, чтобы распознать смысл, выявить, вывести на свет. Мир идей скрыт за миром фактов. <...> История как таковая, история *par excellence*, история, достойная своего названия <...> – это наука, которая находит связь фактов и идей. Основная обязанность философа-историка, следовательно, в выяснении того, что означают факты, какую идею выражают и какие связи существуют между ними и духом эпохи, из лона которой они появляются³⁵⁷.

Из всей плеяды молодых доктринеров менее прочих был склонен к доктринерству Огюстен Тьерри, но даже для него, как показала Сери Кроссли в книге «Французские историки и романтизм», «события разворачиваются в соответствии с лежащей в их основе целью, которая и придает им смысл. Законы истории, несомненно, существуют. <...> Историк должен собирать факты прошлого таким образом, чтобы выявлять лежащую в их основе причину»³⁵⁸. Тьерри стремится отыскать исходный смысл за поступками «огромных множеств людей и различных народов», в «коллективных существах», которые, согласно его социальной истории, наделены волей и «чувством»³⁵⁹ и воплощают законы исторической необходимости. Конфликт, столкновение интересов, бунт, гражданскую войну можно считать явлениями неизбежными, плодотворными и потому осмысленными – они высвобождают энергию и подталкивают исторический прогресс в верном направлении; они, образно говоря, являют собой двигатель исторического прогресса. Поэтому Тьерри заявляет, что все подлинно народные революции, – от французских городских восстаний XII века до Великой французской революции, – развиваются по одному и тому же сценарию и повинуются одному и тому же историческому закону:

Этот ход событий, присущий, как мы уже знаем по собственному опыту, всем значительным революциям, повторяется с большой точностью в восстаниях как одного простого города, так и целого народа, поскольку мы имеем дело с интересами и страстями, которые, в сущности, всегда одинаковы. Политическими изменениями в двенадцатом веке управлял тот же закон, что и в веке восемнадцатом, – закон высший и абсолютный, который властвовал

³⁵⁶ Ibid. P. 31 (9-й пагинации).

³⁵⁷ Ibid. P. 12–13 (8-й пагинации).

³⁵⁸ Crossley C. French Historians and Romanticism: Thierry, Guizot, the Saint-Simonians, Quintet, Michelet. London, 1993. P. 53–54. См. также: Реузов Б. Г. Французская романтическая историография. Л., 1956. С. 120–121.

³⁵⁹ Thierry Au. Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands... / 3^e éd., entièrement revue et augmentée. T. IV. Paris, 1830. P. 138; Библиотека Пушкина. С. 348. № 1433, все страницы разрезаны.

над нами и нашими предками и будет властвовать над нашими потомками. Единственное преимущество, которым мы располагаем в сравнении с предшественниками, – это то, что мы лучше них знаем, куда движемся и какие перемены, печальные или радостные, будут способствовать постепенному, но неотвратимому процессу социального совершенствования»³⁶⁰.

Сходным образом и Франсуа-Огюст Минье во вступлении к своей «Истории Французской революции» заявлял, что все стадии революционного процесса были «почти неминуемыми» («presque obligées») и их «невозможно было ни избежать, ни контролировать». По его убеждению, революция была закономерностью, а не исторической случайностью:

Было бы опрометчиво утверждать, будто внешняя сторона событий не могла бы быть иной; но нет сомнения в том, что революция, при тех причинах, которые ее вызвали, и тех страстях, которые она использовала или пробуждала, должна была идти и закончиться именно так³⁶¹.

Таким образом, труды французских историков-романтиков обычно охватывают обширный период времени и, иллюстрируя повествование тщательно отобранными красочными деталями и яркими анекдотами, стремятся установить конечную цель (телос) событий и выявить в эпохе или процессе главную причину, их определяющую. Например, у Тьерри это Нормандское завоевание, которое предопределило последующие конфликты и классовое разделение английского общества; у Гизо – расширение прав и свобод простого народа как движущая сила цивилизации и т. п.

Самым ярким сторонником и защитником нового исторического учения в России был Николай Полевой. Его брат Ксенофонт вспоминает, что знакомство с трудами Гизо, Кузена и Тьерри в конце 1820-х годов «не вдруг, но быстро изменило взгляд его на историю России»³⁶². В 1829 году Полевой опубликовал критическую статью об «Истории государства Российского» Карамзина, в которой, отдав должное «неотъемлемым достоинствам и заслугам нашего незабвенного Историка», назвал его при этом «историком прошедшего века», которому была недоступна истинная, высшая идея истории, и противопоставил «историкам новейшим» – Тьерри, Гизо, Баранту и др. Современный историк, писал он, «соображает ход человечества, общественность, нравы, понятия каждого века и народа, выводит цепь причин, производивших и производящих события», тогда как труд Карамзина – это скорее летопись деяний, чем попытка понять общую идею русской истории и дух русского народа³⁶³. Книга самого Полевого «История русского народа» представляла собой откровенное подражание французским образцам и была задумана как «современный» ответ на устаревшие методы Карамзина.

Пушкин, усматривавший в исторических писаниях Полевого граничащее с пародией подражание Гизо, Баранту и Тьерри, чей «образ мнений» он принял «с неограниченным энтузиазмом молодого неопита», резко возражал против его попытки «приноровить систему новейших историков и к России» [XI: 118, 121, 126]. В незаконченной рецензии на второй том «Истории» Полевого он писал:

³⁶⁰ *Thierry Au. Lettres sur l'histoire de France, pour servir d'introduction à l'étude de cette histoire / 2^e éd., revue, corrigée et augmentée. Paris, 1829. P. 328–329.*

³⁶¹ *Mignet F. A. Histoire de la Révolution Française depuis 1789 jusqu'en 1814 / 5^e éd. Bruxelles, 1828. T. I. P. 3–4; Библиотека Пушкина. С. 289. № 1168, все страницы разрезаны.*

³⁶² *Полевой Н. А. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов / Ред. и вступ. ст. и коммент. Вл. Орлова. Л., 1934. С. 283.*

³⁶³ *Московский телеграф. 1829. Ч. 27. № 12 (июнь) С. 499, 483–486. Подробнее о статье Полевого см.: Козлов В. П. «История государства Российского» Н. М. Карамзина в оценках современников. М., 1989. С. 139–41; Шикло А. Е. Исторические взгляды Н. А. Полевого. Москва, 1981. С. 73–76.*

Гизо объяснил одно из событий христианской истории: *европейское просвещение*. Он обретает его зародыш, описывает постепенное развитие, и отклоняя всё отдаленное, всё постороннее, *случайное*, доводит его до нас сквозь темные, кровавые, мятежные и наконец <?> рассветающие века. Вы поняли великое достоинство фр.<анцузского> историка. Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европой; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенных Гизотом из истории христианского Запада. – Не говорите: *иначе нельзя было быть*. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном, и события жизни человеч.<ества> были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но Провидение не алгебра. Ум ч<еловеческий>, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оногo глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть *случая* – мощного, мгновенного орудия Провидения [XI: 127].

Пушкинская парадоксальная идея «неслучайного» случая как «мощного орудия Провидения»³⁶⁴ напоминает мысль католического философа Пьера-Симона Балланша, которого Пушкин в статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе и словесности, как иностранной, так и отечественной» назвал гордостью Франции [XII: 69]. Объясняя, как божественное Провидение, управляющее всем сущим посредством вечного закона, согласуется с человеческой свободой, Балланш ввел понятие «провиденциальной случайности» («le hasard providentiel»), то есть такого события, «которое из-за ограниченности нашего сознания кажется случайным, но на самом деле определяется некоей статикой подобно движению и равновесию жидкостей» («... qui, à cause de notre intelligence bornée, ressemble au hasard, mais qui est régi par une sorte de statique comme le balancement et l'équilibre des fluides»)³⁶⁵.

Формула Гизо, исключаяющая случайность, в том числе «провиденциальную», по Пушкину, пригодна лишь для исследования одного конкретного исторического феномена – поступательного, многовекового развития европейского просвещения, но к истории России, где подобного развития не было, она неприменима. Русскую историю он считал неотъемлемой частью общей христианской истории, но частью весьма специфической, в которой не действуют законы исторической необходимости, постулируемые доктринерами, а роль случайностей необычайно велика. На протяжении 1830-х годов, отдавая дань новым идеям французских историков-романтиков, Пушкин на деле ориентировался не на них, а на историков-эмпириков докарамзинского периода. В XVIII веке историки имели «менее шарлатанства и более учености и трудолюбия» [XVI: 11], – писал он И. И. Дмитриеву в 1835 году; по его словам, они отличались «смирненной добросовестностью в развитии истины, добродушным и дель-

³⁶⁴ О возможных источниках этого парадокса см.: Душенко К. В. «Случай, мгновенное орудие Провидения»: Культурно-исторический фон пушкинского афоризма // Литературоведческий журнал. 2021. № 1 (51). С. 38–54. О философии случая у Пушкина: Кибальник С. А. Тема случая в творчестве Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 15. СПб., 1995. С. 60–75; Грехнев В. А. Пушкин и философия случая // Под знаком Пушкина: Болдино. Нижний Новгород, 2003. С. 155–162 (републикация из «Болдинских чтений», 1993); Эберт К. Случай и случайность в исторической прозе и историографии А. С. Пушкина // Случайность и непредсказуемость в истории культуры: Материалы вторых Лотмановских дней в Таллинском университете (4–6 июня 2010 г.). Таллинн, 2013. С. 316–332; Мазур Н. Н. К истокам пушкинской «философии случая» // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 31. СПб., 2013. С. 175–194.

³⁶⁵ Œuvres de M. Ballanche de l'Académie de Lyon. T. III. Paris, 1830. P. 382; Библиотека Пушкина. С. 146. № 566. По-видимому, речь здесь может идти только о типологическом сходении, потому что цитируемая заметка была впервые опубликована в третьем томе второго издания собрания сочинений Балланша, который вышел в середине 1830 года. Пушкинские наброски датируются октябрём – ноябрём того же года [XI: 545], так что, по справедливому замечанию К. В. Душенко, вероятность знакомства с ней Пушкина до этого времени «крайне невелика» (Душенко К. А. «Случай, мгновенное орудие Провидения»: Культурно-исторический фон пушкинского афоризма. С. 43).

ным изложением оной, которые составляют неоценимое достоинство ученых людей того времени» [IX: 400]. В 1836 году «великим историком» Пушкин называет не кого-то из современников, а архиепископа Белорусского Георгия Конисского (1717–1795), которому тогда приписывали авторство «Истории Малороссии» (позже печаталась под названием «История русов или Малой России»). Пушкинские оценки этой весьма наивной хроники, изобилующей антикатолическими, антипольскими и антисемитскими инвективами, необычайно высоки. Конисский, говорит он в рецензии, «сочетал поэтическую свежесть летописи с критикой, необходимой в истории. <...> Под словом *критики* я разумею глубокое изучение достоверных событий и ясное, остроумное изложение их истинных причин и последствий. <...> Множество мест в Истории Малороссии суть картины, начертанные кистью великого живописца» [XII: 18–19].

По сути дела, подход Пушкина к изображению Пугачевского бунта ближе к произведениям таких историков XVIII века, как безымянный автор «Истории Малороссии», чем к тому, что в черновике письма к Бенкендорфу от 6 декабря 1833 года (в котором просил передать рукопись «Истории Пугачевщины» на высочайшее рассмотрение) он определил как «модный образ мысли», подразумевая, конечно же, труды доктринеров и их эпигона Полевого³⁶⁶. Сама фрагментарная природа текста (в предисловии Пушкин именует его «историческим отрывком» и «исторической страницей» [IX: 1]), его длина (само повествование без примечаний и приложений занимает не более ста страниц), непродолжительность периода времени, который охватывает книга, и пристальная сосредоточенность на том, что Гизо, как мы помним, назвал «внешними фактами», – на сражениях, действиях правительства, индивидуальных судьбах участников восстания, а не на его внутренних смыслах³⁶⁷ – все это нарушает правила романтической историографии. По словам Пушкина, он стремился не столько объяснить и обрисовать контекст восстания, раскрыть его социальные, политические и экономические причины, сколько представить строго фактографический отчет, не идеализируя при этом самого Пугачева:

...я писал его для себя, не думая, чтоб мог напечатать, и старался только об одном ясном изложении происшествий, довольно запутанных. Читатели любят анекдоты, черты местности и пр.; а я всё это отбросил в примечания. Что касается до тех мыслителей, которые негодуют на меня за то, что Пугачев представлен у меня Емелькою Пугачевым, а не Байроновым Ларою, то охотно отсылаю их к г. Полевому, который, вероятно, за сходную цену, возмется идеализировать это лице по самому последнему фасону [XVI: 21 – письмо И. И. Дмитриеву от 26 апреля 1835 года].

В противоположность установкам новых историков, Пушкин изображает «русский бунт» как череду случайностей, как вторжение хаоса и непредсказуемости в установленный порядок. Эпиграфом к «Истории Пугачева» он выбрал фрагмент из «Краткого известия о злодейских на Казань действиях вора, изменщика, бунтовщика Емельки Пугачева» казанского архимандрита Платона Любарского, главная мысль которого – невозможность рационального объяснения иррациональных, непредсказуемых действий восставших, полагавшихся на случай и удачу:

Мне кажется сего вора всех замыслов и походов не только посредственному, но ниже самому превосходнейшему историку порядочно описать едва ли бы удалось; коего все затеи не от разума и воинского

³⁶⁶ Ср.: «...я по совести исполнил долг историка: изыскивал истину с усердием и изложил ее без криводушия, не стараясь льстить ни Силе, ни модному образу мыслей» [XV: 226].

³⁶⁷ Ср.: «Пушкин написал превосходный для своего времени очерк пугачовщины, весьма ценный и по точности фактического рисунка, и по спокойному отношению к предмету исследования. Но все же очерк этот был далеко не полон, и к тому же личная история Пугачева привлекала внимание поэта в гораздо большей степени, нежели социальное содержание движения» (Кизеветтер А. А. Пугачевщина // На чужой стороне: историко-литературные сборники. Вып. 9. Берлин, 1925. С. 253).

распорядка, но от дерзости, случая и удачи зависели. Почему и сам Пугачев (думаю) подробностей оных не только рассказать, но нарочитой части припомнить не в состоянии, поелику не от его одного непосредственно, но от многих его сообщников полной воли и удалства в разных вдруг местах происходили [IX: 4]³⁶⁸.

Как кажется, Пушкин разделял убеждение Любарского в том, что в восстании не было ни плана, ни ясной цели, ни логики и что мятежники полагались только на «дерзость, случай и удачу». Об этом свидетельствует, помимо всего прочего, довольно частое использование наречия «вдруг» (оно встречается в тексте 16 раз) в описании их «непредвидимых» решений и действий. Само историческое существование Пугачева-самозванца, по Пушкину, начинается с того, что он, находясь под стражей в Казани, «**вдруг** оттолкнул одного из солдат, его сопровождавших» [IX: 14], и ускакал из города, а заканчивается тем, что казаки, его сподвижники, «**вдруг** на него кинулись» [IX: 77] и сдали властям. Приведу еще несколько примеров:

- «Пугачев сделал движение на Илецкий городок, и **вдруг** поворота к Татищевой в ней засел...» [IX: 47].
- «Мятежники <...> **вдруг** сделали сильную вылазку...» [Там же].
- «Пугачев <...> **вдруг** пошел занять снова Бердскую слободу, надеясь нечаянно овладеть Оренбургом» [IX: 49].
- «Пугачев <...> **вдруг** поворотил на Чербакульскую крепость» [IX: 58].
- «**Вдруг** Пугачев приказал им отступить и, зажегши еще несколько домов, возвратился в свой лагерь» [IX: 63].

В военно-историческом повествовании у Пушкина «вдруг» выполняет ту же роль, что и в авантюрном романе по Бахтину: оно показывает, что мы имеем дело с временем, «где нормальный и прагматически или причинно осмысленный ход событий прерывается и дает место для вторжения *чистой случайности* <курсив автора. – А. Д.> с ее специфической логикой»³⁶⁹.

Задумывавшийся над тем, как совместить устойчивость («*stabilité*») которую он считал «первым условием общественного благополучия», и «неограниченную способность к совершенствованию» («*la perfectibilité indéfinie*» [XII: 196]), Пушкин видел в Пугачевском бунте не двигатель исторического прогресса (как это делали доктринеры по отношению к городским восстаниям и крестьянским войнам), а деструктивный подрыв социального порядка, выброс разрушительной энергии, отбрасывающий общество назад, к варварству³⁷⁰. Согласно «Истории Пугачевского бунта», мятежники стремились уничтожить или подорвать все институты, скрепляющие русское общество: правительство, церковь, закон, частную собственность, образование, даже брак (Пугачев, который объявил себя Петром Третьим и, следовательно, мужем Екатерины, имел двух жен и множество наложниц). Они вешали дворян, оскверняли храмы, испражнялись в них и издеваясь над священниками, грабили мирных граждан, насиловали женщин, разоряли города и деревни. В век Просвещения Пугачев и его товарищи уничтожали науку и образование. Когда они захватили Казань, среди множества их жертв оказались директор местной школы, учителя и ученики; когда им в лапы попался астроном Ловиц, Пугачев, узнав о том, чем он занимается, «велел его повесить *поближе к звездам*» [IX: 75]³⁷¹. Наконец,

³⁶⁸ Пушкин полностью привел этот документ в приложениях к «Истории Пугачевского бунта» [IX: 360–367].

³⁶⁹ Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М., 1986. С. 127. Курсив автора.

³⁷⁰ См. антиреволюционную сентенцию Пушкина, впервые сформулированную им в неопубликованном «Путешествии из Москвы в Петербург»: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества» [XI: 258]; затем перифразированную в «Капитанской дочке»: «...лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений» [VIII: 319].

³⁷¹ «Поближе к звездам» выделено курсивом как слова Пугачева, приписанные ему в двух хорошо известных Пушкину

бунтовщики постоянно нарушают моральный закон – предают, обманывают, не щадят слабых и беззащитных. Пушкин описывает восстание как череду жестоких убийств, пыток, грабежей, изредка прерываемую актами случайного, необъяснимого милосердия. Например, в Казани, где повстанцы сожгли дотла две тысячи домов, зверски убили сотни жителей, включая столетнего старца и десятилетнего ребенка, Пугачев почему-то помиловал и отпустил протестантского пастора, и это лишь подчеркнуло хаотическую природу исторического конфликта.

Знаменитая пушкинская апофегма из «Капитанской дочки»: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный» [VIII: 364]³⁷², которую советские литературоведы пытались разными хитроумными способами дезавуировать или подверстать к словам Ленина о неорганизованных крестьянских движениях³⁷³, – это ответ французским историкам, считавшим революции, гражданские войны, крестьянские и городские восстания неизбежным, но и небесполезным злом, так сказать, акселератором общественного прогресса. Национальная особенность русского бунта, по Пушкину, заключается не в его беспощадности (каковой могут похвалиться многие бунты во всем мире), а в отсутствии позитивных смыслов: он не ускоряет прогресс, а наоборот, способствует регрессу.

Если с социально-исторической точки зрения Пугачевский бунт бессмыслен (или безмыслен), возникает искушение приписать ему смысл метаисторический, провиденциальный, не поддающийся умозрительным спекуляциям. Идея умонепостижимой, но интуитивно прозреваемой теодицеи, манифестирующей себя и в том, что рационалистическому сознанию представляется абсолютным злом, пронизывала деистическую философию и поэзию XVIII века, и Пушкин был с нею отлично знаком. Он наверняка знал знаменитую концовку первой эпистолы «Опыта о человеке» Александра Поупа (как в оригинале, так и в русском или французском прозаическом переводе), где эта идея выражена в афористической форме:

All Nature is but Art, unknown to thee;
All chance, Direction, which thou canst not see;
All Discord, Harmony, not understood;
All partial Evil, universal Good³⁷⁴.

По всей вероятности, Пушкин, знал и «Размышления о Франции» («*Considérations sur la France*», 1797) Жозефа де Местра, где Французская революция рассматривается как явление провиденциальное, неподвластное человеческому контролю и управлению. Согласно де Местру, есть эпохи, когда мы видим, что привычный порядок вещей вдруг рушится – обычная «деятельность прекращается, причинные связи разрываются и возникают новые послед-

источниках – «Истории Екатерины II, Императрицы России» Ж. Кастера и биографии генерала-аншефа А. И. Бибикова, написанной его сыном, сенатором А. А. Бибиковым (*Блок Г. П.* Пушкин в работе над историческими источниками. С. 256). Ср.: «... il [Pugatscheff] commanda qu'on l' élevât sur des piques, pour qu'il fût, dit-il, plus près des étoiles» (*Castéra J.* Histoire de Catherine II, Impératrice de Russie. T. II. Paris, 1809. P. 333; *Библиотека Пушкина*. С. 185. № 707; пер.: «...он [Пугачев] приказал насадить его на пики и поднять, чтобы, по его словам, он был поближе к звездам»). «Нашед астронома Ловица <...> велел его повесить на высокой виселице, и прибавляя поругание к зверству, сказал, что там будет ближе к звездам» (Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова / [Изд.] сыном его сенатором Бибиковым. СПб., 1817. С. 285; *Библиотека Пушкина*. С. 9. № 33).

³⁷² А. Л. Осповат обратил мое внимание на то, что в единственной прижизненной публикации «Капитанской дочки» в «Современнике» напечатано «безмысленный» (1836. № 4. С. 196), но уже в первом посмертном собрании сочинений под редакцией Жуковского (СПб., 1838. Т. VII. С. 223) и во всех последующих изданиях – «без(с)мысленный». В литературном языке пушкинской эпохи значения этих прилагательных были близки, но полностью не совпадали.

³⁷³ Обзор этих интерпретаций см.: *Гиллельсон М. И., Мушина И. Б.* Повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Комментарий. Пособие для учителя. Л., 1977. С. 156–157.

³⁷⁴ *The Poetical Works of Alexander Pope*. London, 1825. P. 195. *Библиотека Пушкина*. С. 312. № 1273; страницы 1–280 разрезаны. В русском переводе Ф. Загорского: «Вся Природа есть токмо искусство тобою незнаемое; всякий случай есть порядок, которого ты не можешь приметить; всякое несогласие есть Гармония, которую не в состоянии ты понять; всякое частное зло есть общее благо» (Опыт о человеке. Творение Александра Попе. Переведенный прозою с Английского оригинала. М., 1801. С. 30–31).

ствия»³⁷⁵, но подобные исторические катаклизмы следует толковать как чудо, произведенное божественной или сверхчеловеческой волей, которое отменяет обычную причинность или противоречит ей: «Никогда порядок не бывает столь хорошо виден, а Провидение столь ощутимо, как в те времена, когда вместо человека действует высшая сила, и только она одна»³⁷⁶. Даже в самых активных революционных деятелях тогда обнаруживается нечто «пассивное и механическое» («quelque chose de passif et mécanique»), поскольку они на самом деле являются только «самыми мерзкими орудиями» Провидения, которое «наказывает, чтобы возродить»³⁷⁷. Всякое наказание, утверждает де Местр, очищает, ибо

...не бывает такой катастрофы, которую любовь Господня не обратила бы против принципа зла. Во времена всеобщего разрушения радостно предугадывать планы Божества. Мы никогда не увидим полную картину в течение нашего земного странствия и будем часто ошибаться, но ведь во всех науках, кроме наук точных, нам приходится довольствоваться предположениями³⁷⁸.

По убеждению де Местра, такие кровавые события, как революции, бунты, гражданские войны, лучше всего доказывают, что «в мире нет ничего случайного и даже, во вторичном смысле, нет хаоса, поскольку хаосом управляет рука Всевышнего, которая подчиняет его определенным правилам и заставляет способствовать достижению определенной цели»³⁷⁹.

В «Истории Пугачевского бунта» приводятся слова Пугачева, сказанные им капитан-поручику Савве Маврину, члену Следственной комиссии, вскоре после ареста: «Богу было угодно <...> наказать Россию через мое окаянство» [IX: 77]³⁸⁰. Пушкин взял их из так называемой «Летописи Рычкова», которую он напечатал в приложении к «Истории». Однако в источнике они даны не в прямой речи, а в пересказе, причем сам П. И. Рычков, оренбургский географ и историк, не придает им никакого значения, считая стандартным самооправданием любого преступника: когда Пугачева спросили, «с чего он отважился принять на себя высочайшее звание, то сперва сделал отзыв, всем таким злодеям свойственный: Богу изволившу наказать Россию чрез его окаянство, и проч.» [IX: 353]. Очевидно, что Пушкин отнесся к этой провиденциальной формуле в духе де Местра значительно более серьезно, так как считал Пугачева не столько главным действующим лицом бунта, сколько орудием мятежных казаков, которые, в свою очередь, при смене оптики, оказывались «игралами таинственной судьбы»³⁸¹.

Примерно так же понимал роль Пугачева и умный А. И. Бибиков (1729–1774), в 1773 году посланный Екатериной на подавление восстания, нанесший мятежникам несколько поражений, но не доживший до окончательной победы. Пушкин перифразировал «следующие замечательные строки» из его письма Д. И. Фонвизину от 29 января 1774 года: «Пугачев не что иное, как чучело, которым играют воры, яицкие казаки: не Пугачев важен; важно общее негодование» [IX: 45]³⁸². Столкнувшись с «варварством, предательством и злодейством», Бибиков,

³⁷⁵ *Considérations sur la France*, par M. le comte Joseph de Maistre / Nouvelle éd., la seule revue et corrigée par l'auteur... Paris, 1821. P. 3.

³⁷⁶ *Ibid.* P. 5.

³⁷⁷ *Ibid.* P. 9–10.

³⁷⁸ *Ibid.* P. 55–56.

³⁷⁹ *Ibid.* P. 202–203.

³⁸⁰ В рапорте генералу П. С. Потемкину от 15 сентября 1774 года, известном Пушкину, Маврин передал слова Пугачева иначе: «Что ж принадлежит до его предприятий завладеть всем, – в том и сам удивляется, что был сперва щастлив <...> Почему и уповае, что сие – попушение Божеское к несчастию России» (*Овчинников Р. В.* Следствие и суд над Е. И. Пугачевым и его сподвижниками. М., 1995. С. 38).

³⁸¹ Ср.: *Эберт К.* Случай и случайность в исторической прозе и историографии А. С. Пушкина. С. 326.

³⁸² В оригинале письма, напечатанном в приложении к «Истории», иначе: «Неужели-то проклятая сволочь не образумится? Ведь не Пугачев важен, да важно всеобщее негодование. А Пугачев чучела, которую воры Яицкие казаки играют» [IX: 201].

по его словам, не понимал, «можно ли от домашнего врага довольно охраниться, все к измене, злодейству и бунту на скопищах», но, как и Пугачев, видел в происходящем проявление воли Божией: «Бог один всемогущ обратит все сие в лучшее»³⁸³. О том же он писал и жене: «... прошу Господа о помощи. Он один исправить может своею милостию. <...> Зло велико, преужасно»³⁸⁴.

Провиденциальные коды, к которым в соответствии с общими культурными нормами своей эпохи прибегают Пугачев и Бибииков – антагонисты из разных социальных групп, – Пушкин исподволь вводит и в авторское повествование. Вопреки собственным уверениям в предисловии к «Истории», он, подобно летописцам древности, расцвечивает некоторые эпизоды анекдотами о невероятных происшествиях и чудесах, которые наводят на мысль, что речь идет о вмешательстве высших сил в исторические события. Хотя все эти анекдоты основаны на документальных источниках, не отличающихся полной достоверностью, Пушкин оставляет их без авторского комментария и оценки, не подвергая критическому анализу. Более того, в некоторых случаях он редактирует документы, чтобы усилить драматический эффект подобных эпизодов и подчеркнуть их провиденциальный смысл. Для этого Пушкин выбирает сюжеты, в которых ясно прочитываются параллели к известным библейским и агиографическим прототипам. Таков, например, рассказ о чудесном спасении часовых во время взрыва пугачевцами церковной колокольни в Яицкой крепости:

Нижняя палата развалилась, и верхние шесть ярусов осели, подавив нескольких людей, находившихся близ колокольни. Камни, не быв разметаны, свалились в груды. Бывшие же в самом верхнем ярусе шесть часовых при пушке свалились оттоле живы; а один из них, в то время спавший, опустился не только без всякого вреда, но даже не проснувшись [IX: 46].

В распоряжении Пушкина было два документальных свидетельства об осаде Яицкой крепости, о чем он сам сообщает в примечании к «Истории»:

Следующие любопытные подробности взяты мною из весьма замечательной статьи (*Оборона Яицкой крепости от партии мятежников*), напечатанной в *Отечественных Записках* П. П. Свиньина. В некоторых показаниях следовал я журналу Симонова, предполагая более достоверности в официальном документе, нежели в воспоминаниях старика. Но вообще статья неизвестного очевидца носит драгоценную печать истины, неукрашенной и простодушной [IX: 112].

Анонимный автор статьи из «Отечественных записок»³⁸⁵ описал взрыв колокольни следующим образом:

Этот пример приводит Г. П. Блок в подтверждение своего вывода, что «в пределах основного текста „Истории Пугачева“ дословная передача цитируемого материала встречается лишь как редкое исключение. <...> Пушкин считал необходимым подвергать чужой текст известной стилистической правке, иногда весьма значительной» (*Блок Г. П. Пушкин в работе над историческими источниками*. С. 26–27).

³⁸³ Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибиикова. С. 288–289. Пушкин цитировал это письмо в примечании к главе четвертой «Истории» [IX: 107].

³⁸⁴ Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибиикова. С. 280–281; [IX: 39].

³⁸⁵ Р. В. Овчинников, изучивший более полную и не подвергнушуюся литературной обработке версию документа, которая была найдена в бумагах князя С. Р. Воронцова (Пугачевщина. Частное письмо из Яицкого городка, 15 мая 1774 // Архив князя Воронцова. Кн. XVI: Бумаги графа Семена Романовича Воронцова. М., 1880. С. 470–512), пришел к аргументированному выводу, что его автором был Андрей Прохорович Крылов, отец баснописца (*Овчинников Р. В. В поисках автора «весьма замечательной статьи» (Об атрибуции одного из источников пушкинской «Истории Пугачева») // История СССР. 1979. № 4. С. 173–179*). Во время осады Яицкой крепости капитан Крылов был вторым по званию и должности офицером гарнизона. В «Истории» Пушкин называет его «человеком решительным и благоразумным» и рассказывает, что Пугачев поклялся повесить вместе с ним и всю его семью (включая и будущего «славного Крылова»), находившуюся тогда в Оренбурге [IX: 37, 45].

Колокольня, зашатавшись, с удивительной тихостью начала валиться в ретраншемент; на самом верху оной спали три человека: не разбудя, снесло их и с постелями на землю, чему, по высоте здания, трудно даже поверить; бывшую на верху пушку с лафетом составило на низ. Хотя падение было тихо, и камни, не быв разбросаны, свалились в груды, однако около 45 человек лишились при сем случае жизни. Сии несчастные были большею частию егери 7-й команды, стоявшие на верху колокольни, на стенке между оною и церковью, в шалаше и кибитке, тут же находившейся. Кроме их задавлены канонеры, бывшие при двух пушках, казаки и погонщики, рывшие в колокольне борозду, также несколько человек, пришедших к сему месту для любопытства³⁸⁶.

Журнал коменданта Яицкой крепости, подполковника И. Д. Симонова рисует несколько иную картину:

...неприят.<ельский> подкоп открылся в самом деле и развля нижнюю под колок.<ольней> палату, верхние 6 этажей осадил, и тем более подавило людей вдали и в стороне, чем на постах своих подле колок.<ольни> стоящих. Всего же удивительнее, что в самом верхнем этаже бывшие при пушке на часах, 7-ой пол.<евой> ком.<анды> егеря Ядринцев и Ветошкин *и у них же под часами* Алушников и Конахин, свалились оттоль живы – первые трое расшиблись, но не смертельно, а последний оттоле безо всякого вреда снесен сонный [IX: 503].

Очевидно, что, контаминируя оба источника, Пушкин выводит на первый план и усиливает тему чудесного спасения. Он лишь мельком упоминает о нескольких жертвах, находившихся близ колокольни, хотя из статьи в «Отечественных записках» следует, что их было очень много, в том числе среди солдат, стоявших на самом верху, и увеличивает число чудом спасшихся часовых с трех (по анониму) или четырех (по Симонову) до шести человек, ничего не говоря о раненых. По-видимому, он хочет намекнуть, что осажденным было послано чудо, подобное тому, которое было обещано истинно верующему в псалме 90 («...не приключится тебе зло <...> ибо Ангелам Своим заповедует о тебе – охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею») и которым дьявол искушал Иисуса в пустыне³⁸⁷. В легендах о чудесах, совершенных св. Сергием Радонежским, рассказывалось о похожем спасении от смерти при обрушении башни в Троицкой обители, находившейся под его покровительством. Когда еще не полностью достроенная новая башня, не выдержав тяжести большого числа находившихся на ней строителей, обрушилась, «следовало бы ожидать гибели всех рабочих; но оказалось, что не только ни один из них не был убит, но даже никто не потерпел ни малейшего повреждения»³⁸⁸.

Провиденциальные мотивы чудесного спасения подчеркнуты и в рассказе о снятии долгой осады Яицкой крепости, защитники которой, оставшиеся без припасов и две недели голодавшие, уже не надеялись выжить, но отказывались сдаться, полагаясь, как пишет Пушкин,

³⁸⁶ Оборона крепости Яика от партии мятежников (Описанная самовидцем) // Отечественные записки. 1824. Ч. XIX. № 52. С. 171–172; перепечатано: [IX: 542].

³⁸⁷ Ср. «Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею» (Мф 4:5–6).

³⁸⁸ Описание жизни и чудес преподобного и Богоносного Отца нашего Сергия Радонежского и всея России чудотворца / Составлял по древним сказаниям современников, русским летописям и другим историческим материалам Г. Лаврентьев. СПб., 1862. С. 152.

на «Бога, всемогущего и всевидящего» [IX: 53]. Когда началась Страстная неделя, в Великий Вторник, случилось «что-то необыкновенное»:

Вдруг, в пятом часу по полудни, вдали показалась пыль, и они увидели толпы без порядка скачущие из-за рощи одна за другою. Бунтовщики въезжали в разные ворота, каждый в те, близ коих находился его дом. Осажденные понимали, что мятежники разбиты и бегут; но еще не смели радоваться; опасались отчаянного приступа. Жители бегали взад и вперед по улицам, как на пожаре. К вечеру ударили в соборный колокол, собрали круг, потом кучею пошли к крепости. Осажденные готовились их отразить; но увидели, что они ведут связанных своих предводителей, атаманов Каргина и Толкачева. Бунтовщики приближались, громко моля о помиловании. Симонов принял их, сам не веря своему избавлению. Гарнизон бросился на ковриги хлеба, нанесенные жителями. До Светлого Вокресения, пишет очевидец сих происшествий, оставалось еще четыре дня, но для нас уже сей день был светлым праздником. Самые те, которые от слабости и болезни не подымались с постели, мгновенно были исцелены. Всё в крепости было в движении, благодарили Бога, поздравляли друг друга; во всю ночь никто не спал [IX: 53–54].

Здесь главным источником Пушкину послужил анонимный очерк из «Отечественных записок», в котором, как мы помним, Пушкин обнаружил «драгоценную печать истины, неукрашенной и простодушной»³⁸⁹. Правда, цитируя благочестивого «самовидца», он опустил фразу, в которой неожиданная капитуляция мятежников и освобождение от осады прямо объясняются вмешательством «благого Промысла», но и без нее привязка избавления к Страстной неделе, мотив мгновенного исцеления больных и упоминание благодарности, обращенной к Богу, не оставляют сомнений в том, что для Пушкина, как и для автора очерка, произошедшее ассоциируется с пасхальными чудесами. Важно, что Пушкин начинает эпизод с наречия «вдруг», отсутствующего в источнике и, как мы видели, выступающего в других местах текста как знак случайности. Однако, в отличие от примеров, приведенных выше и связанных с непредсказуемыми действиями Пугачева, в этом контексте «вдруг» означает случайность «провиденциальную».

В описании освобождения Казани Пушкин тоже следует за вполне благочестивым источником – тем самым «Кратким известием о злодейских на Казань действиях вора, изменщика, бунтовщика Емельки Пугачева» казанского архимандрита Платона Любарского, откуда взят эпиграф к «Истории». Любарский особо отмечает, что «неутомимый пастырь Вениамин, Архиепископ, во всё то время продолжавшегося штурма, не выходя из соборной Благовещения Пре-

³⁸⁹ Ср.: «В 5-ом часу пополудни, на Оренбургской дороге, из-за рощи показались кучи бунтовщиков; поднявшаяся пыль доказывала, что они скоро бегут. Каждая толпа, прибыв к городку, въезжала теми воротами, кои ближе к их домам; из-за рощи следовали одна толпа за другою с поспешностию и в беспорядке непрерывно скакали опростометью кто как успел, без значков и копий. Городок, встревожась, наполнился бегающими взад и вперед, подобно как на пожаре. Наступила ночь, а тревоге сей и конца не было; всё показывало, что их толпы, незадолго из городка выехавшие, обращены были в бегство; не менее того и мы считали себя в опасности, ожидая, что они в отчаянии непременно всю силою на нас ударят, и потому принята в тот вечер возможная осторожность. Едва смерклось, как за валами произошел шум; мы вступили тотчас в ружье и начали стрелять из пушек. Тогда они нам закричали, чтобы прекратить пальбу, объявляя, что приходят в повиновение к Ее Величеству и готовы всё учинить, что прикажут. <...> Кто может описать радость гарнизона? Нет слов, нет выражения изобразить ее; и что может сравниться с чувствами человека, по долгу обреченного на смерть, и благим Промыслом, в воздаяние сей жертвы, возвращенного к жизни? До Светлого Воскресения оставалось еще четыре дни, но для нас уже настоящий день был торжественнейшим праздником. Самые те из нас, которые от голоду и болезни не поднимались с постели, мгновенно были исцелены. Всё было в движении; разговаривали, бегали, благодарили Бога и поздравляли друг друга во всю ночь, не думая предаться сну; некоторые были столь поражены сим радостным оборотом, что сомневались в истине и думали видеть всё во сне (Оборона крепости Яика от партии мятежников (Описанная самовидцем) // Отечественные записки. 1824. Ч. XIX. № 53. С. 343–344, 345–346; [IX: 550–551]).

святыя Богородицы церкви, коленопреклонно молил Господа о ниспослании скорой на нечестивых помощи, а по утишении пальбы, не взирая на жар, дым и копоть, взяв честные иконы, со всем бывшим при нем духовенством, внутрь крепости <имеется в виду Казанский кремль, где укрылись остатки гарнизона. – А. Д.> обошел вокруг с умиленным пением, молебствуя ко Всевышнему» [IX: 364]. Наутро все ожидали нового приступа мятежников, «разрушения крепости и погубления всех в ней находившихся» [IX: 365], но внезапно получили известие, что накануне вечером кавалерия подполковника И. И. Михельсона разбила отряды Пугачева.

В пушкинском изложении эпизод сжат и динамизирован, но при этом к нему добавлено несколько немаловажных мелких деталей:

Преосвященный Вениамин во всё время приступа находился в крепости, в Благовещенском соборе, и на коленях со всем народом молил Бога о спасении христиан. Едва умолкла пальба, он поднял чудотворные иконы, и не смотря на нестерпимый зной пожара и на падающие бревна, со всем бывшим при нем духовенством, сопровождаемый народом, обошел снутри крепость при молебном пении. – К вечеру буря утихла, и ветер оборотился в противную сторону. Настала ночь, ужасная для жителей! Казань, обращенная в груды горящих углей, дымилась и рдела во мраке. Никто не спал. С рассветом жители спешили взойти на крепостные стены, и устремили взоры в ту сторону, откуда ожидали нового приступа. Но, вместо Пугачевских полчищ, с изумлением увидели гусаров Михельсона, скачущих в город с офицером, посланным от него к губернатору [IX: 63–64].

Чудотворные иконы (вместо «честных», то есть почитаемых, досточтимых, дорогих, драгоценных), народ, сопровождающий духовенство при молебне, несмотря на падающие бревна, внезапное появление избавителей, «гусаров Михельсона», – все эти добавления усиливают драматический эффект сцены и придают ей большее сходство с аналогичными эпизодами в средневековых военных повестях, житиях святых и легендах о чудотворных иконах, спасающих осажденные города и крепости. Например, в «Повести о приходе Стефана Батория на град Псков» (XVI век), рассказывается, как в разгар битвы у стен Псковского кремля, когда русские начинают отступать, воеводы «посылают в соборную церковь Живоначальной Троицы за великим и надежным избавлением, за святыми чудотворными иконами и чудотворными мощами благоверного великого князя Гавриила-Всеволода, псковского чудотворца и избавителя от врагов, и повелевают принести их к проломному месту». Поскольку битва происходила в день Рождества Богородицы, подчеркивает летописец, «была принесена к проломному месту из соборной церкви Живоначальной Троицы святая чудотворная икона Успения Пречистой Богородицы Печерского монастыря вместе с <...> другими святынями; и в тот же час невидимо пришло спасение граду Пскову на проломе»³⁹⁰.

Вслед за православными хроникерами Пушкин дает читателю понять, что в непредсказуемых, случайных поворотах судьбы, в неожиданных спасениях от гибели можно видеть свидетельства Божьего Промысла, граничащие с чудотворением. Хотя они не нарушают никаких природных законов и потому не соответствуют тому, что Клайв Льюис назвал простейшим определением чуда, – «вмешательство в природу сверхъестественной силы» («an interference with Nature by supernatural power»³⁹¹), сама бессмысленность происходящего заставляет интерпретировать их как некие значимые исключения из общего хода вещей, как неясные сигналы,

³⁹⁰ Библиотека литературы Древней Руси / Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Поньрко. Т. 13: XVI век. СПб., 1997. С. 579 (пер. В. И. Охотниковой). Пушкин мог знать этот фрагмент повести по близкому пересказу в книге: [Болховитинов Е.] История Княжества Псковского с присовокуплением плана города Пскова. Ч. I. Киев, 1831. С. 213–214.

³⁹¹ Lewis C. S. *Miracles: A Preliminary Study*. New York, 1978. P. 5.

не поддающиеся расшифровке, а лишь указывающие на существование по ту сторону «кошмара истории» другой, высшей, реальности. Подобные «провиденциальные случаи» подпадают под определение «чуда», данное А. Ф. Лосевым:

Чудо обладает в основе своей, стало быть, характером *извещения, проявления, возвещения, свидетельства*, удивительного *знамения*, манифестации, как бы пророчества, раскрытия, а не *бытия* самих фактов, не наступления самих *событий*. Это – модификация *смысла* фактов и событий, а не самые факты и события. Это – определенный метод *интерпретации* исторических событий, а не изыскание каких-то новых событий как таковых³⁹².

Истории о чудесном спасении от врагов, истолкованные как манифестации Провидения, предвосхищают главное «чудо» пушкинской книги – избавление России от Пугачева.

Обыгрывается в «Истории» и сюжет внезапного обращения иноверца в христианство – сюжет, имеющий довольно богатую агиографическую, иконописную и книжную традицию в православии. Один из самых кровавых эпизодов книги – расправа над защитниками Нижне-Озерной крепости – заканчивается героическим жестом татарина-мусульманина, отправленного Пугачевым на виселицу вместе с офицерами, который внезапно осенил себя крестным знамением перед казнью:

Ни один из страдальцев не оказал малодушия. Магометанин Бикбай, взошед на лестницу, перекрестился и сам надел на себя петлю [IX: 19].

Рассказ о мусульманине, перед смертью вверившем свою душу не Аллаху, а Иисусу Христу, Пушкин слышал в окрестностях Оренбурга от престарелого очевидца Пугачевского бунта³⁹³. В пушкинской записи разговора старик уточняет: «Не видал я сам, а говорили другие, будто бы тут он перекрестился» [IX: 496], но в тексте малодостоверный слух превращен в непреложный факт. Вероятно, это понадобилось Пушкину для создания параллели к описанию казни Пугачева из автобиографических записок И. И. Дмитриева, которое в «Истории» процитировано дважды – в основном тексте и в примечании. После оглашения приговора, вспоминает Дмитриев,

Пугачев, сделав с крестным знамением несколько земных поклонов, обратился к соборам, потом с утормоленным видом стал прощаться с народом; кланялся во все стороны, говоря прерывающимся голосом: *прости, народ православный; отпусти, в чем я согрешил пред тобою... прости, народ православный!* При сем слове экзекутор дал знак: палачи бросились раздевать его; сорвали белый бараний тулуп; стали раздирать рукава шелкового малинового полукафтаны. Тогда он сплеснул руками, повалился навзничь, и в миг окровавленная голова уже висела в воздухе... [IX: 80; ср. там же: 147–148].

Поскольку Пушкин, полагаясь на несколько свидетельств XVIII века, ошибочно считал Пугачева раскольников, который «в церковь никогда не ходил» и «крестился по-раскольнически» [IX: 13, 26, 41]³⁹⁴, тот факт, что перед казнью он бил поклоны, крестился на московские церкви и обращался к «народу православному» с просьбой его простить, нужно понимать –

³⁹² Лосев А. Ф. Диалектика мифа. Дополнение к «Диалектике мифа». М., 2001. С. 187. Курсив автора.

³⁹³ Об устных источниках эпизода см.: Овчинников Р. В. Над «Пугачевскими» страницами Пушкина. М., 1981. С. 73–81.

³⁹⁴ Пушкину не был известен протокол первого допроса Пугачева в Секретной комиссии 16 сентября 1774 года, на котором он показал: «До семнадцатилетнего возраста жил я все при отце своем так, как и другие казачьи малолетки в праздности; однакож не раскольник, как протчия Донския и Яицкия казаки, а православного греческого исповедания кафолической веры, и молюсь Богу тем крестом, как и все православныя христиане, и слагаю крестное знамение первыми тремя перстами (а не последними)» (Емельян Пугачев на следствии. Сборник документов и материалов / Ответств. исполнитель, автор введения и примеч. Р. В. Овчинников. М., 1997. С. 56).

подобно крестному знамени мусульманина Бикбая – как отказ от старой веры и обращение в веру новую³⁹⁵.

В основном тексте «Истории» Пушкин приводит в сокращении рассказ П. И. Рычкова, чей сын, полковник, комендант Симбирска, был убит в сражении с мятежниками:

Пугачев ел уху на деревянном блюде. Увидя Рычкова, он сказал ему: добро пожаловать, и пригласил его с ним отобедать. *Из чего*, пишет академик, *я познал его подлый дух*. Рычков спросил его, как мог он отважиться на такие великие злодеяния? – Пугачев отвечал: *виноват пред Богом и Государыней, но буду стараться заслужить все мои вины*. И подтверждал слова свои божбою (по подлости своей, опять замечает Рычков). Говоря о своем сыне, Рычков не мог удержаться от слез; Пугачев, глядя на него, сам заплакал [IX: 78].

Из рассказа Рычкова, полностью напечатанного в приложении к «Истории», следует, что он сам слез Пугачева не заметил, а узнав о них от офицеров, присутствовавших при разговоре, в раскаяние «изверга натуры» не поверил: «...сие было в нем от его великого притворства, к которому, как от многих слышно было, так он приучился, что, когда б ни захотел, мог действительно плакать» [XI: 355]. Судя по перестановке акцентов и купюрам, сделанным Пушкиным, он думал иначе и представил раскаяние и обращение Пугачева как заключительный «провиденциальный случай» «Истории», ее моральный апофеоз – один из немногих позитивных результатов «бунта бессмысленного и беспощадного»³⁹⁶. Переключение внимания с общественно-политических причин пугачевщины на ее моральные последствия, вкрапления чудесных, неправдоподобных случаев в повествование, претендующее на документальность, отказ от поиска общей объединяющей идеи или любых скрытых исторических причин и закономерностей, которые бы объясняли всю череду внешних событий – эти «архаичные» тенденции показывают, что подход Пушкина в «Истории» тяготел скорее к традиционному провиденциализму, нежели к новому романтическому историзму. То, как Пушкин обрабатывает тот же материал в «Капитанской дочке», подтверждает мой вывод. Если в историческом нарративе «провиденциальные случаи» теряются в хронике военных действий, убийств, народных волнений, а связи между ними скрадываются, то в сюжете романа, наоборот, судьбы главных героев изобилуют такими случаями и их «странными сцеплениями» [VIII: 329], о чем нам не забывает напомнить рассказчик. Так, например, когда в Бердской слободе Пугачев спрашивает Гринева, по какому делу он выехал из Оренбурга, ему в голову приходит «странная мысль»: «Мне показалось, что Провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действие мое намерение» [VIII: 348]. Взятые по отдельности, все основные повороты сюжета, позволяющие герою в конце концов избежать наказания и соединиться с Машей, выглядят

³⁹⁵ В примечании к «Истории» Пушкин заметил, что подробности казни Пугачева «разительно напоминают казнь другого донского казака, свирепствовавшего за сто лет перед Пугачевым, почти в тех же местах и с такими же ужасными успехами» [IX: 148], ссылаясь на французский перевод английской брошюры 1672 года «A Relation Concerning the Particulars of the Rebellion, Lately Raised in Muscovy by Stenko Razin...». Ср. в первом русском переводе А. Станкевича: «Когда же палач намеревался приступить к исполнению своей обязанности, то он [Разин] перекрестился несколько раз, обращаясь лицом к церкви, называемой Причистая Божией Матери Казанской. Затем он поклонился трижды, на три стороны, собравшемуся вокруг народу, говоря „прости“» (Известие касающееся подробностей бунта, недавно поднятого в Московии Стенькою Разиным... // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1895. Кн. 3 (174). С. 15, 3-й пагинации). Оригинал с новым переводом Л. Е. Поляковой воспроизведен в сборнике: Записки иностранцев о восстании Степана Разина / Под ред. А. Г. Манькова. Л., 1968. С. 91–118.

³⁹⁶ В секретных «Общих заметках» к «Истории», предназначавшихся исключительно для царя, Пушкин писал: «Нет зла без добра: Пугачевский бунт доказал правительству необходимость многих перемен, и в 1775 году последовало новое учреждение губерниям. Государственная власть была сосредоточена; губернии, слишком пространные, разделились; сообщение всех частей государства сделалось быстрее, etc. —» [IX: 376]. Очевидно, однако, что административные реформы, упомянутые Пушкиным, были направлены на укрепление правительственного контроля и, следовательно, скорее на усовершенствование профилактических механизмов для предотвращения будущих восстаний, а не на уничтожение или хотя бы ослабление их причин.

случайными, почти сказочными нарушениями исторического детерминизма, но в совокупности они образуют рисунок, за которым угадывается метаисторический Промысел³⁹⁷

³⁹⁷ О провиденциальных темах в «Капитанской дочке» см. подробнее: *Шмид В.* Проза Пушкина в поэтическом прочтении. «Повести Белкина» и «Пиковая дама» / Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 2013. С. 223–224; *Долинин А.* Вальтер-скоттовский историзм и «Капитанская дочка» // Долинин А. Пушкин и Англия. Цикл статей. М., 2007. С. 246–248.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.